

АЛЕКСАНДР МОРОЗ

**ЗДРАВСТВУЙ,
ШУРА!**

16+

Александр Мороз
Здравствуй, Шура!

«Автор»

1970

Мороз А. А.

Здравствуй, Шура! / А. А. Мороз — «Автор», 1970

Автор книги — Мороз А.А. описывает свою жизнь начиная с самого рождения (5 августа 1905 года), всё, что помнит сам и слышал из рассказов близких людей. В первой части события происходят с 1901 по 1941-й гг., во второй части идёт описание событий ВОВ 1941–1945 гг. В первой части автор воссоздаёт картину жизни начала 20-го века, быт людей, детские игры и проказы, как было построено обучение в те годы. Описываются события Первой Мировой войны, изменения в жизни людей после революции, служба в только что созданной Красной Армии, голодный 1921-й год, смерть В.И. Ленина, репрессии. Вторая часть начинается с описания событий 22 июня 1941 года и заканчивается с окончанием войны. Полностью воссоздаётся жизнь семьи в военные годы. Эта часть книги написана в форме дневника, она основана на автобиографических фактах, воспоминаниях, а также переписке Мороз А. А. с женой, братьями, родными, разбросанными в годы войны по разным уголкам страны.

© Мороз А. А., 1970

© Автор, 1970

Содержание

Часть 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Часть 1

1901–1907 гг. Город Сновск

Я родился пятого августа 1901 года (по старому стилю) в городе Сновск (прим. – с 1935 по 2016 годы – город Щорс) Черниговской губернии Городнянского уезда, расположенного вблизи несудоходной спокойной речки Сновь.

Рассказывали старики, что до постройки железной дороги тут был казачий хутор Коржевка, а когда появилась Либаво-Роменская железная дорога, то станции присвоили название «Сновская».

На северо-востоке от станции был железнодорожный мост и паром через реку Сновь. За мостом – Милорадовский лес, названный так, вероятно, по фамилии владельца. Вдали виднелся лесной массив «Михайловщина». С юго-востока к самой станции подступал Казенный лес с громадными соснами и дубами. Около станции, напротив вокзала, были пакгаузы (прим. – закрытое складское помещение при железнодорожной станции), товарный двор. Около пакгауза стоял небольшой железнодорожный домик, чуть побольше стрелочной будки. Это и было жилище молодой семьи Мороза Александра Карловича.

Передо мной пожелтевший документ, из которого я не только узнаю даты, но также и некоторые события, связанные с этими датами.

Так, например, я узнаю, что вскоре после рождения, а именно 16 августа 1901 года, меня понесли в село Носовка, расположенное в двух километрах от Сновска, в церковь крестить. В церкви священник Петр Пригоровский при участии моих православных родителей и при приемниках, т. е. крестных, мещанина г. Городни Данченко Сергея Федоровича и жены дворянина Ляхмант Эмилии Александровны, окунул меня в воду, и мне было присвоено имя Александр в честь знаменитого Александра Невского. Все это вписали в метрическую книгу под номером 69, и, таким образом, была мне дана путевка в жизнь.

Отца своего я не помню. Лишь по рассказам моей матери и сохранившимся у меня некоторым документам я, приблизительно, представляю его физический и моральный облик.

Из пожелтевших свидетельств конца 19 века видно, что отец мой Койдановский мещанин Минской губернии Мороз Александр Карлович родился 12 сентября 1873 года, православного вероисповедания, ремесла не знает, занимался хлебопашеством. Успешно окончил в 1891 году Рубежевическое народное училище и в 1894 году был обязан явиться в Койдановский призывной участок для исполнения воинской повинности.

К моему большому сожалению я не сумел сохранить единственную фотографию, запечатлевшую моего отца. На фоне здания станции Сновская на перроне сняты были начальство и персонал станции. Выстроившись в ряд, стояли полный, коренастый начальник станции Ляхмонт, высокого роста жандарм и далее еще несколько человек. В конце ряда последним, стоял мужчина среднего роста в пиджаке, похожем на телогрейку – это был мой отец.

Уже одна эта расстановка группы, построенная явно с учетом служебных рангов и значимости каждого по служебной лестнице, была достаточной иллюстрацией и свидетельствовала о скромном месте, занимаемом отцом среди персонала станции. Карточка эта пропала при эвакуации в 1941 году, как я предполагаю, где-то в районе Воронежа. В Гомель я ее с собою взял.

Как рассказывала мать, отец был очень заботливым мужем, был трудолюбив, не пьяница. А по свидетельству его сестры, моей тетки Лукашевич Елизаветы Карловны, отличался веселым характером и был мастер отколоть какую-либо неожиданную шутку и заставить посмеяться до слез. Занимал должность сцепщика вагонов. Он, помимо этой должности, выполнял

много разных поручений начальника станции, вплоть до ухода за его коровой и прочей живностью. Недаром жена начальника станции мадам Ляхмонт Эмилия Александровна изъявила желание и стала моей крестной матерью. Некоторое время у нас в семье хранилась фотокарточка этой миловидной, довольно полной женщины, но после эвакуации из Либавы в 1915 году она пропала.

Мать моя Фёкла Филипповна была дочерью крестьянина села Здряговка Черниговской губернии Городнянского уезда Филиппа Вошки. Были у нее два брата: Кузьма и Логвин. Имени ее матери – моей бабушки, я не знаю. Была у матери тетка Ульяна Павловна, служившая у панов в Городне. Смутно представляю образ этой тетки: высокая, черноволосая, она чем-то напоминала монахиню. По рассказам матери, отец ее был мельником, после пожара обедневшим. В моей памяти смутно встает картина: какая-то белая хата под соломенной крышей, полутемная внутренность этой хаты, широкая горячая печь, на которой мы спали в один из дней наведывания Здряговки. Конечно, никаких образов деда, бабуки и дядей у меня в памяти не сохранилось. По-видимому, наведывались мы в Здряговку нечасто.

Когда подросла моя мать, тетя Ульяна определила ее в услужение к панам в Городне. Сам пан был каким-то чином в суде: не то заседателем, не то еще кем. Матери было немного лет, и для принятия ее на работу нужно было прибавить пару годов, что и было с успехом проделано, а позже и записано в паспорт, в котором указано, что родилась она 12 августа 1880 года вместо фактического рождения в 1882 году. Как вспоминала моя мать, работала она у пана успешно, и ею были довольны. Там она научилась готовить неплохие кушанья, и это ее кулинарное искусство в жизни служило предметом особой гордости.

Как и где она познакомилась с отцом, я или по своей небрежности не запомнил, или она об этом не рассказывала, но я не знаю. Одно я запомнил из ее отзывов о нем – это то, что он был трудолюбивый человек и хороший семьянин.

Прошли бурные 1904 и 1905 годы. Обедневшая семья моей матери после того, как, кажется, умер ее отец, прельщенная обещаниями хорошей жизни в далеких Сибирских землях, переселилась в Томскую губернию Кыштовского уезда. Несколько лет велась переписка с ними, постепенно угасая, пока не прекратилась вовсе. Писали в Сибирь уже не Вошкам, а на фамилию Вощенко – так просила мать. Она считала, что ее семейству присвоили фамилию по фантазии какого-то самодура-пана, и не хотела, чтобы она красовалась на конвертах.

После революции стало известно, что бабушка в Сибири умерла в возрасте 83 лет, что кто-то из их семьи, не то Кузьма, не то Логвин, очутился во враждебных лагерях: один стал кулаком, другой остался в бедняках. И после этого связь матери с ее сибирской родней окончательно прервалась. Конечно же, никаких фотографий родных моей матери не было. Фотография в те времена была не совсем доступна простому люду. Да и простой народ считал это искусство пустой панской затеей. И хотя мать моя, будучи в услужении, жила в городских условиях, фотографироваться ей в молодые годы не пришлось.

Когда позже, уже работая на железнодорожных путях, я спросил одного из старых путейских рабочих Новика о моей матери, которую он знал в молодости, то он только сказал: «О!». Что означало это «О!», я так и не понял тогда, но это междометие меня удовлетворило. Я любил эту безропотную, добрую женщину, видевшую в людях только хорошее, готовую поделиться со всеми, что у нее есть.

Итак, если я родился в 1901 году, то, нужно полагать, что поженились мои родители в 1900 году, и что отцу было 27 лет, а матери 18.

Молодая семья дружно жила в маленьком казенном доме года четыре. Мать любила вспоминать эти самые счастливые годы ее жизни (так она о них говорила), пока не случилось несчастье. Оно, несчастье, всегда настигает человека неожиданно-негаданно и наиболее болезненно переживается тогда, когда нарушает безоблачную счастливую жизнь.

Второго марта 1904 года отца, незадолго до сдачи дежурства, убило поездом. Был гололед, он поскользнулся, угодил под колеса, и его не стало. Так я в два года и семь месяцев стал сироткой.

Похоронили отца на Сновском кладбище недалеко от базара и церкви. Помимо креста поставили гранитный камень прямоугольной формы. На лицевой гладкой стороне камня выбили слова и цифры, причем не обошлось без курьеза: ошибочно дату смерти выбили 1903 год вместо 1904 года. Кто допустил такую ошибку – не знаю, но камень этот до сих пор стоит под углом в 45 градусов, глубоко осевши в землю. Надпись на нем такая:

«Александр Карлович Мороз.

Жил 29 лет. Умер 2 марта 1903 года».

Причем первые две строки видны, остальные в земле.

Передо мной два документа. Один из них с датой 16 апреля 1904 г. от Городненского сиротского суда свидетельствует, что моя мать Фёкла Филипповна Мороз и Сергей Федорович Данченко назначены мне опекунами. А во втором, выданном Минским сиротским судом с датой 31 мая 1905 г., записано, что мать моя, проживающая в г. Минске по Торговой улице в доме № 8, назначается единственной опекуницей надо мной и деньгами в сумме 366 рублей по книжке сберегательной кассы, а Данченко С.Ф. как не проживающий в Минске от опеки освобождается. В этом же документе написано, что малолетнему Александру Морозу принадлежит право на землю в деревне Гнецкая Рубежечинской волости, которой пользуются братья покойного и мать, и «что малолетнего к пользованию не допускают и никакой прибыли ему не дают».

Почему мать в мае 1905 года была прописана в Минске, я так и не узнал. Может быть, это было связано с тем, что отец был родом из Минской губернии, и все делопроизводство сиротского суда было сосредоточено в Минске. А может быть, мать судилась с Либаво-Роменской железной дорогой, управление которой было в Минске? Не знаю. Вероятно, в Минске мать проживала недолго и в конце 1905 – начале 1906 гг. жила уже в Сновске.

Как, где и когда познакомилась мать с отчимом Владимиром Андреевичем Гавриловым, я у матери не выяснил, и она не рассказывала.

У меня нет точных сведений о времени регистрации моей матери с отчимом, но зато дата рождения моей сестры Анны 21 июля 1907 года позволяет сделать вывод, что свадьба была не позже 1906 года.

Работал отчим в Сновском железнодорожном депо слесарем. Пытался продвинуться в помощники машиниста, но, по его словам, этому желанию помешал какой-то дефект зрения. Между прочим, когда ему уже было под 90 лет, он читал без очков и видел прекрасно.

Как и когда был куплен дом на Черниговской улице в Сновске, я не знаю. Уже когда я подросток и стал разбираться кое в чем, тетка Лиза Лукашевич рассказывала мне, что в покупку этого дома были вложены и мои «сиротские» деньги, а позднее, когда дом продали Онуфриевым, то деньги за него прокутили при активном участии матери отчима Гавриловой. Правда, я не очень прислушивался к наветам тетки на мою мать и отчима и не поддавался науськиваниям на них.

Вообще же, ко времени приобретения дома на Черниговской улице и вторичного замужества моей матери определились два враждебных лагеря: один – матери и отчима, возглавляемый матерью отчима Гавриловой Екатериной Ивановной, и второй – родней моего отца под руководством моей тетки Елизаветы Карловны Мороз, по мужу Лукашевич.

Что представляла собой бабушка Гаврилова? Это была особа довольно романтического свойства с не совсем ясной биографией. Была она из немецкого рода по фамилии Кайзер. Какие-то родственники ее жили в Минске. После того, как она вышла замуж за лесничего из села Березное Черниговской губернии Гаврилова Андрея, она начала изменять мужу. Когда муж ее поступил на работу машинистом водокачки на станции Уза, то она продолжила свои

похождения. Как утверждали досужие всезнающие кумушки, она водила «амуры» с помощником начальника депо по фамилии Конюх.

В общем, бедный Андрей Гаврилов дошел до такого состояния, что однажды покончил расчеты с жизнью: застрелился из охотничьего ружья.

Екатерина Ивановна любила выпить и погулять, и рассказам тетки Лукашевич о ее активном участии в «пропитии» проданного дома можно было поверить.

Идейным руководителем второго лагеря была тетка Лукашевич Е.К. Она тоже была не прочь «хватить лишнего», но ее биография была проще. Муж ее, Мартин Степанович, был человек очень спокойный, работал в Сновском железнодорожном депо и прочно сидел под башмаком жены. Тетя Лиза была примерной женой, народила немало дочек и одного сына, но мне она не нравилась за ее постоянное хныканье, сюсюканье надо мной «сироткой» и натравливание на мою мать по поводу денежных дел. Мать я очень любил и терпеть не мог тех, кто как-то критиковал ее поступки.

Что еще сохранила моя детская память о периоде моей жизни со времени смерти отца (в 1904 году) до переезда в Либаву в 1907 году?

Ну, прежде всего, я ясно представляю себе дом на Черниговской улице. Скрип возов и, напротив нашего, дом моих маленьких друзей Карклиневских. Не трудно нарисовать такую, примерно, картину, которую подсказывает мне моя память: жаркий летний день, на улице сидит мальчик лет пяти-шести и пересыпает песок. Не знаю, как он выглядел, но надо полагать, что мордашка его чистотой не блещет. И посмотреть на него со стороны я не могу, потому что это я сам. Вот проскрипел воз, чуть не задев своими немазанными колесами мальчишку, и ленивый дядька, под стать своим неторопливым волам, не спеша берется за кнут, чтобы припугнуть ораву любителей покататься на этом великолепном транспорте. Потом, наверно, был окрик: «Саша! Вот я тебе дам!», или что-то в этом роде. И вот меня загоняют во двор, а может быть к соседям Карклиневским, где есть и песок, и грязь, и, конечно, друзья.

Сам Карклиневский был маленького роста, упитанный коротыш. Работал он поездным машинистом. Жена его – высокая худощавая женщина, была на голову выше мужа. Потешная была пара. Старший их сын Владик имел один существенный недостаток: ноги у него напоминали кронциркуль. Еще была старшая девочка Геля, она была очень симпатичной. Из детей поменьше были: Стефа, Броня, Зося. Стефа была мне ровесницей.

Ну, что еще шевелится в моем мозгу из поры этого далекого-далекого времени?

Помню, это было, наверно, в 1905 году, как у окна стоит с охотничьим ружьем на изготке наш квартирант Макаренко. Мама и я со страхом следим за ним... Чем все закончилось и с кем собирался сразиться Макаренко – не знаю. Это было беспокойное время: были забастовки, а были и просто грабители. Возможно, что этот запомнившийся мне эпизод был актом готовности защититься от каких-то нехороших людей. Наш квартирант Макаренко работал помощником машиниста, он играл на кларнете, холостяк. Был у него недостаток: он страдал недержанием мочи, о чем кумушки шушукались меж собой, злорадствовали, узнав о мокрой постели. Видно, не мало они прожужжали на эту тему, если я, малыш, запомнил.

Отчим мой активно участвовал в забастовке 1905 года, и когда наступили годы реакций, ему посоветовал либерально настроенный помощник начальника депо переменить место жительства, так как он попал в списки «неблагонадежных» у жандармерии. Не знаю, из каких соображений, возможно, что с целью русификации окраин Российской империи, отчиму рекомендовали город Либаву.

И вот наша новая, пока еще немногочисленная семья в конце 1907 года переехала в Либаву. Самого переезда, как и того, была ли с нами бабушка Гаврилова, я не помню.

1907–1915 гг. Город Либава (с 1917 года – город Лиепая, Латвия)

В конце 1907 года мы приехали в Либаву. Поселились в районе Новой Либавы на Северо-восточной набережной – так называлась наша улица, расположенная вдоль берега канала, соединяющего зимнюю гавань с либавским озером. Зимняя гавань была отгорожена от моря молами. Канал пересекали два раздвижных моста, фермы которых вращались на оси. От одного из мостов, называемого городским, начиналась Большая улица с высокой немецкой кирхой. От Большой улицы разветвлялись Цветная, Зерновая, буржуазная Вильгельминовская, потом большой красивый русский собор, путь к «Кургаузу» (прим. – помещение на курорте, предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприятий) и побережье Балтийского моря.

От другого конца моста ответвлялась улица на железнодорожный вокзал, другая, длинная, Суворовская улица, по которой трамвай довозил почти до военного порта. Отсюда же брала начало тоже длинная Александровская улица, ведущая к пороховым складам в конце города.

За городским мостом в сторону зимней гавани на одной стороне канала была таможня, а на противоположной – кладбище.

У городского моста рыбаки продавали рыбу стримлю (т. е. салаку), мянтузу и камбалу. У причалов канала всегда стояло много судов разного тоннажа. Частенько бывали огромные, океанские.

Недалеко от моста стояли так называемые Царские ворота – это те, через которые выходил царь, будучи в Либаве.

У городского моста был вокзал узкоколейной железной дороги Либава – Газентоп, протяженностью около полсотни километров. По соседству с вокзалом был остров Цетинье – место гуляний либавцев. На этом острове в день на Ивана Купала 24 июня, «на Яна», как говорили латыши, либавцы почти всю ночь веселились, сжигали четыре бочки со смолой, укрепленные на столбах. Зрелище было грандиозное: фейерверк, много огоньков на лодках, снующих по Либавскому озеру. Говорят, бывали случаи, что на озере зажигали лодку, облитую горючим. Вообще же день Яна у латышей самый веселый из праздников.

Остров Цетинье стоял на грани глубокой части канала с мелководным Либавским озером. С одной стороны острова всегда стояло много плотов, пригнанных с озера. А зимой в этом месте ловили подсачниками рыбу колюшку. Ею кормили свиней.

На острове располагались платные купальни и лодочные пристани двух хозяев: поляка Ясиновича и немца Баха. Параллельно лодочным пристаням проходила узкоколейка на Газентоп.

Рядом с линией узкоколейки шли наша улица, на ней стояла путевая будка сторожа Плиски, который чинил обувь и, конечно, выпивал, как и подобало сапожнику, и напротив будки два казенных дома, в одном из которых мы и поселились.

Улица наша была замечательна тем, что вела в конец города к тем местам, куда свозили все нечистоты. Обычно «золотари» возили свою продукцию по ночам, но иногда это случалось и в дневное время, тогда наша улица «благоухала». Плевали и терпеливо ждали, когда обоз скроется. Впрочем, сами «золотари» никаких запахов не признавали и, сидя на бочке, уплетали еду за обе щеки.

Но не всегда улица вызывала ропот живущих на ней, бывал и на нашей улице праздник, особенно для нас – подростков и малышей. Это когда выводили купать слонов из цирка. Слоны шли важно, помахивая хвостиками, а сзади бежала ватага болельщиков разных возрастов. Вот слон погружается в воду, и только кончик хобота виден над водой. Да, зрелище интересное! А главное – бесплатное.

Было еще одно интересное место за городом, где наша улица уже терялась, и дальше шла болотистая равнина. Там от завода Беккера прорыта была канава, облицованная плитами. По этой канаве с завода стекала в озеро вода. Вода была очень теплая и привлекала немало любителей купаться. Один существенный недостаток мешал купанию – вода была покрыта пятнами от нефти и мазута. Частенько купальщик вылезал из канавы похожим на зебру, и отмыть пятна было нелегко. Но недостатка в купающихся не было, нужно было только наловчиться и отгребать жирные пятна от себя. Были такие ловкачи, что ухитрялись выходить чистыми из воды.

Дом, в котором мы поселились, был трехквартирный. Одну квартиру с окнами на улицу занимал мастер вагонного депо Ольшанский с женой и сыном Мечиком; во второй квартире помещался машинист подъемного крана в таможне Яковлев с дочерью Ядей (Ядвигой); и на третьей, окнами во двор, жили мы.

В доме, что стоял рядом с нашим, жили четыре семьи. В квартире со стороны улицы путевой рабочий Охотинский с женой и сыном Стасей. В квартире рядом с ними – ремонтный рабочий, латыш Руй с женой, они были бездетны. Дальше, в третьей квартире, окнами во двор, помещалось семейство Ирбы. Эта семья отличалась тем, что не было дня, когда бы у них не было скандала, крика, шума, а то и драки. Особенно свирепыми в этом семействе были женщины, и когда соседки в минуты ссоры хотели особенно задеть и оскорбить друг друга, то они говорили: «Ты ирбянка». Кто жил в четвертой квартире, я забыл. Но помнится, там обитала спокойная семья.

Во дворе стояла помпа, откуда брали питьевую воду. Двор ограничивался сараями, за которыми была железнодорожная ветка, по ней подходили паровозы к водокачке. Водокачка была одновременно и водоподъемным зданием с баком для воды в верхней части. И машинистом этой водокачки был мой отчим. Немного поодаль шла железная дорога на высокой насыпи, соединяющая парк товарной Либавы с таможней.

Недалеко от нашего двора были контора и здание вагонного депо. Между двором и вагонным депо участок земли, на котором садили картофель и прочее. Рядом с вагонным парком были кошары (прим. – загоны для скота), куда стогнали стада свиней, привозимые из Ромен, а оттуда гнали на убой по нашей улице на завод «Марриот и Зелигман». Около кошар заросшие травой пути, и вдоль путей длинные крытые шатры для хранения зерна, почти всегда пустовавшие.

За насыпью стоял железнодорожный домик. В нем жил сторож Карпович с женой и сыном Колей. Здесь был товарный двор с крытыми платформами, пакгаузами и прочим складским хозяйством. Склады занимали большую территорию, и в конце их были пути станции Либаво-товарная.

С территории товарного двора было два официальных выхода. Я, когда вспоминаю порядок, царивший на товарном дворе, и вообще всю организацию охраны, удивляюсь, как можно было оставаться честным и не воровать. Ну просто как при полном коммунизме! Конечно, и сторож Карпович, и многие другие кормили свиней, курей и прочее свое хозяйство. Ведь зерно, овес мешками, которыми всегда были забиты навесы под самые крыши, фактически не охранялись. И когда мы, мальчишки, озорства ради распарывали пятипудовый мешок с овсом, и он с шумом сыпался вниз, а сторож издали замечал нас, то он только грозил кулаком, что-то кричал и, выполнив эту нехитрую миссию, лез в свою будку. Он не столько оберегал имущество двора, сколько свой покой.

Отчим мой получал жалованья 25 рублей в месяц. Рассказывала мать, что он любил выпить и часто приходил домой пьяным. Уже позже отчим рассказывал мне, что в Либаве к нам часто заходили с обыском полицейские, но я этого не помнил. Может быть, я спал в это время. Но отчим запивал здорово, в этом я убедился, когда немного подрос, и мы с матерью качали воду.

Мать обзавелась хозяйством: держала свиней, кур и козу. Я ходил с матерью в кошары за помоями и мукой, оставленными после выгрузки стада. Пасли козу вместе, пока я был мал, а когда подрос, то и сам.

Мы, малыши, бегали к шатрам играть в прятки. Наверное, немного лет мне было, но запомнился один случай.

Мимо нашей квартиры к вагонному депо часто ходила девчонка с мешком. Она собирала щепки и вагонную обшивку, валявшуюся после ремонта около вагонов. Была она, помнится, щупленькая, небольшого роста, ходила в каких-то лохмотьях, грязная, и когда мы, мальчишки, пробовали дразнить ее, то ее грязное лицо искажалось какой-то гримасой, она, смеясь, отгоняла нас, а мы в страхе разбегались в разные стороны с криком: «Сумасшедшая девка, сумасшедшая девка!». Не берусь судить о действительном состоянии ее умственных способностей, но взрослые нас, детей, не одергивали. Возможно, что она была шизофреничкой. А может быть, бедность и нужда довели ее до такого состояния, она опустила и не смотрела за собой. Во всяком случае эта кличка твердо закрепилась за ней не только среди детей, но и взрослые называли ее так же.

Однажды, в летний день мы, малыши-дошкольники, играли у шатров. Шатры были недалеко от дома и от вагонного депо на путях станции Либава-товарная. Это было одно из любимых мест для наших игр. Шатры, предназначенные для хранения грузов, имели в длину, пожалуй, 1/4 километра; каждый без окон и с покатой крышей, со множеством боковых дверей, с дощатым полом. Почему-то они частенько стояли пустыми и были великолепным местом для игры в прятки. Вот мы подошли к одной из дверей, открыли ее, осветив внутренности шатра, и остолбенели. В углу на мешке лежала «сумасшедшая девка», а на ней, придавив ее всем телом, здоровенный парень пыхтел и сопел, качался наподобие поршня помпы в нашем дворе. Мы стояли, раскрыв рты, и глазели на это необычное происшествие. И поскольку девка радостно хихикала, решили, что ей ничего страшного не угрожает, иначе бы она кричала, а не смеялась. Так стояли мы и удивленно наблюдали до тех пор, пока парень, крайне недовольный нашим присутствием, не оторвался от своего занятия, встал на колени, потом на ноги и, придерживая штаны, запустил в нас какой-то колодкой. Он показался мне громадным и был, по-видимому, из зимагоров или из грузчиков. Девица в это время, лежа на спине на своем мешке, хохотала. Мы в страхе устремились к двери и уже, конечно, не дожидались конца этой истории.

Девицу я видел на следующий день. Она была такая же, как и всегда, и мои опасения насчет несчастья с ней рассеялись, как дым. Ведь я подумывал, грешным делом, не задавил ли ее этот верзила.

Этот случай познакомил меня с одной из тайных сторон жизни. Более же детальные объяснения этим делам дали позже товарищи-ученики, когда я стал учиться в школе. Они объяснили, что не аист приносит детей, а виновны в этом папа с мамой; обучили недозволенным ругательным словам и объяснили происхождение этих слов.

Я подрастал, и примерно в 1908 году меня определили в железнодорожное училище. В те времена самым доступным учебным заведением для детей низших служащих-железнодорожников были железнодорожные училища. Гимназия была почти недоступна, в реальное училище и прогимназию была возможность, при большом желании, поступить, но мои родители решили отдать меня в железнодорожную школу.

Довольно странно была построена программа обучения в этой школе. Называлась она двухклассной, а учиться в ней нужно было семь лет, т. е. на год меньше, чем в гимназии. Первый год учебы начинался в младшем подготовительном отделении, затем год в старшем подготовительном, а потом пять лет в пяти отделениях. И если гимназия за восемь лет учебы давала среднее образование, то железнодорожная школа выпускала после семи лет с правом за два класса. Да и знания давала не ахти какие. Недаром мы, окончившие это училище, не без горечи говорили, что окончили железнодорожную «академию». Школа была недалеко от

железнодорожного вокзала. От нашего дома до нее было порядочное расстояние. Не помню, водили меня в школу, или я ходил самостоятельно. Скорее всего, что сам, ибо хорошо помню путь: территория товарного двора, потом подлазил под навесами с зерном, которые стояли на сваях, пролезал под вагонами и через калитку мимо сторожа выходил на улицу, а там вокзал и школа. Школа – это одноэтажное здание, старое и какое-то неприветливое.

В период моей учебы в подготовительном отделении, а именно 23 августа 1909 года, наше семейство обогатилось еще одним членом – родился брат Иван. Незаметно семья выросла до пяти душ. Материальное положение стало тяжелее, ведь 25 рублей в месяц было незыблемо.

В 1910–1911 годах я уже учился в первом отделении. Учился так себе, в частности не давалась арифметика. Мать сама слаба была в грамоте и помочь мне особенно не могла. Во второе отделение я перешел с такими отметками: по закону Божьему – 4, русскому языку устному – 4, письменному – 5, по арифметике вытянул на среднюю четверку, по чистописанию – 3, по пению – 3 (оказался почти безголосым).

К этому времени у меня появились школьные товарищи, такие как Поплавский Константин, Климович Александр, Густав Маткевич и Иван Дрига. Были и другие, но с этими я особенно сдружился, и нас несколько лет связывала школа и личная дружба.

Отец Кости Поплавского работал где-то в районе Либавы-товарной. Сам Костя был рослый парень. Была у него слабость – он любил сочинять пьесы, но по русскому языку не вылезал из двоек. Да и говорил он по-русски неважно. Был он в душе непризнанный поэт, но стихи его ни шли ни в какие ворота. Когда в конце 1960-х годов я услышал по радио песни в обработке Константина Поплавского, то запросил радиостанцию в Минске, не тот ли мой друг Костя подвязался в композиторы? Ответили, что не он. А жаль! От его натуры можно было ждать многого.

Отец Сашки Климовича был ламповщиком. О нем, о Саше, я расскажу подробнее. В комнате, примерно в 16 квадратных метров, помещалась семья в восемь душ. Жили в грязи и бедности. Сам Климович-старший, мужчина с черной бородой, и его толстая жена мало внимания обращали на свое многочисленное потомство, и дети были предоставлены сами себе. Сашка не был особенно щепетилен в вопросах морали и старался все, что можно, стянуть, даже и то, что не так уж и плохо лежит. Под его «мудрым» руководством мы, школьники, шли в книжный магазин. В магазине торговала молоденькая латышка. Климович спрашивал книгу потолще, название которой его зоркий глаз замечал на самой верхней полке. Наивная бедняжка продавщица по лесенке взбиралась за этой книгой, а Сашка в это время присоединял к своим учебникам ближайшие книги, лежавшие на прилавке, и когда она подавала просимую им книгу, он с апломбом заявлял, что это не то, что ему надо. Потом покупал два пера № 86 за копейку и благополучно отбивал с украденными книгами.

Сначала мы только завидовали этой его оперативности и не решались следовать его примеру, но шло время, и мы, осмелев, начали действовать, подтаскивая по книге в одно посещение. И даже я, не отличавшийся особой храбростью, помню, стащил книгу Марка Твена «Принц и нищий». На этой книге моя воровская карьера закончилась. Правда, на толкучке у букиниста я спер какую-то копеечную книжонку, но не спереть у этого до смешного доверчивого старикашки было просто невозможно. Уж очень он по-глупому вел свою торговлю.

У Сашки Климовича на чердаке было нечто вроде базы книготорга. Книги разных изданий, дорогих и дешевых, валялись в беспорядке, и он их потихоньку сбывал.

И еще один неприятный эпизод в моей жизни, тесно связанный с дружбой с Климовичем. По соседству с нами, через стенку, помещалась семья вагонного мастера Олышанского. У них был сынок Мечик. Не смотря на разницу социального положения – Олышанские причисляли себя к категории господ – Мечiku они разрешали дружить со мной, т. к. не замечали за мной особых грехов и поступков, дурно влияющих на их сына. К сожалению, безупречная в их глазах моя репутация нарушилась, и вот от чего.

Был у меня перочинный ножик – предмет моей гордости и лютой зависти со стороны Мечика. Однажды у Мечика появилась пятирублевая золотая монета, и он предложил мне ее за ножик. Хотя я уже был учеником, но настоящей цены этой монетки я не знал. Мой школьный товарищ Сашка Климович сразу определил, чем пахнет этот обмен, и без обиняков посоветовал менять ножик, обещая мне в числе прочих благ набор печатных резиновых букв, о чем я давно мечтал. Ножик обменяли. Сашка реализовал пять рублей, дал мне несколько конфет и печатку, которая у него была и уже порядком износилась. За эти деньги, конечно, можно было купить несколько новых печаток и много чего другого, по тем временам это были немалые деньги. Не помню, полностью ли потратил деньги Сашка, но когда дело дошло до мам, то я понял, насколько мой друг Сашка далек от совершенства.

Не знаю, на чем сошлись родители, но вскоре мои страшные дни остались позади. Конечно, если мои родители отдали Ольшанским 5 рублей из 25 рублей месячного заработка, то это было большой потерей для них. Помню, мать меня ударила кочергой. Правда, не так уж сильно мне попало, но я притворился, что мне очень больно и настолько артистически это проделал, что моя бедная мама испугалась и сама пустила слезу, и я уже насилу ее успокоил.

Вот таков был Сашка Климович. Не помню, по какой причине, но, возможно, после этого случая моя дружба с Сашкой пошла на убыль, и я вовремя освободился из-под влияния этого опасного человека.

Позже, уже после революции, я, кажется, в Сновске на вокзале встретил Климовича. Себя он рекомендовал чуть ли не чекистом, вел себя высокомерно, и дружба наша не возобновилась.

Третий школьный товарищ Густав Маткевич был тихий мальчик. Отца у него не было, он жил с матерью в собственном домике где-то на Новой Либаве недалеко от кладбища на Суворовской улице. Я к ним часто бегал. Меня привлекала у него одна потешная игрушка: на стене висел картонный скрипач, и при дергании за ниточку, водил смычком по скрипке и корчил рожу. Я до слез смеялся, и что скрывать, иногда только из-за этого клоуна забегал к ним, чтобы подергать за ниточку и вдоволь насмеяться.

Об Иване Дриге я немного помню, в основном мы общались с ним во время занятий в школе.

Из нешкольных друзей был Коля Карпович, сын сторожа, живший недалеко от нас за насыпью. Отец его жил крепенько и Колю определил в прогимназию. Коля щеголял в форме, несколько похожей на гимназическую, и немало задавался. Впрочем, и у нас в школе вскоре появились фуражки с синим околышем и значком, который был похлеще, чем даже значок у гимназистов, а именно – топор и якорь, расположенные крест на крест. Носил я сатиновую рубашку и штаны из «чертовой кожи» – был такой материал. Раз в год мне покупали ботинки за три рубля с резинками по бокам. Был у меня ремень с широкой блестящей бляхой.

В 1911 году родился еще один брат Михаил. Семья уже была из шести душ.

На участке земли около дома мы садили картофель и овощи. Раз, копая огород, я нашел несколько медных монет времен Петра I.

У матери была черная коза, которую я пас после школы на путях возле шатров. У козы были и козлята. Однажды мне в голову пришла блестящая мысль: почему я должен гнать все стадо домой после пастбы, а не ехать, например, на старой козе? Задумано – сделано. И вот, я держусь за рога и, поджав ноги, погоняю бедную козу. К самому дому я, не подъезжая, чувствовал, что затею эту мать не одобрит. Но мать вскоре заметила по убыли молока и подстерегла меня. Езду пришлось прекратить. Вообще же я много помогал матери: нянчил сестру Аню, братьев Ивана и Мишу, ходил за ряской для уток – она плавала в болоте за шатрами, в ноги мне впивались пиявки.

Я уже был достаточно грамотен, и меня приглашали Охотинские писать письма к их родственникам в Видзы. Диктовали они попеременно, а то и одновременно, и трудно было уловить

здравый смысл в этом диктанте, но я с грехом пополам справлялся и получал за письмо две или три копейки.

Уже тогда во мне зародился микроб книголюбия, и всякие попадающие мне деньги я расходовал на приобретение книг. И конечно же деньги, даваемые на завтраки, шли туда же.

Охотинский по воскресеньям, правда редко, водил нас – своих детей и меня, в лес по грибы. Мы порядочно шли по линии узкоколейки в сторону Газентопа, потом сворачивали вправо и по дороге шли к темнеющему лесу на берегу Либавского озера. Назывался этот лес Фридрихсгафен. Сюда по выходным на лодках через озеро приезжали веселиться либавцы. Мы углублялись в лес, но грибов почти не находили – не грибной был лес. Так, изредка, сыроежки. Зато сколько радости было, когда наталкивались на ягоды, которые Охотинский называл «пьяницей». Они росли кустами, были похожи на чернику, только несколько выше черничников. Но самая прелесть была в том, что, поевши этих ягод, мы как будто пьянели и домой шли навеселе. И если, идучи в лес, мы только поглядывали на горох, посеянный латышами, то уже на обратном пути смело налетали на него. Охотинский осаживал наше бесстрашие, ведь могло попасть и ему! К счастью, нас ни разу не накрыл хозяин гороха.

Наверно, в этом возрасте, может чуть постарше, я бегал к цирку. Помню, как часами вертелся у цирка без всякой надежды попасть внутрь. А ведь были счастливицы, которые за какие-то услуги попадали на представления! Я же только смотрел на афиши приезжего цирка Черзинелли, где был нарисован великолепный борец Лурих. Хотелось хоть бы глянуть на этого Луриха, но он не выходил.

А сколько было радости, когда я впервые попал в кино на «Иллюзион». Фильм «Аполло» был приключенческий, картина немая, но под аккомпанемент пианино. За полотном имитировали звуки, например, цоканье лошади, выстрелы, гром.

По субботам ходили в баню. После бани отчим заходил в пивнушку латыша Скабе. Он брал себе «мерзавчик» и пиво, а мне просто пиво. Иногда брали национальное латышское блюдо путру.

В нашем доме жила дочка машиниста Яковлева Ядя (Ядвига). Она училась в гимназии. Мне она казалась красавицей. Втайне я был немного влюблен в нее. И вот, нужно же было такому случиться! Однажды я побежал за сарай по естественной надобности, присел, и вдруг меня застаёт в такой позе Ядя! Я чуть не сгорел со стыда и долго потом избегал встречи с нею.

В конце нашего огорода стояла контора вагонного депо. В конторе работал счетоводом Чепанис. Он приходился моим родителям кумом. Иногда он гостил у нас, и мы ходили к нему. Чепанис – невысокий коренастый мужчина с черной бородой, был не дурак выпить.

Каждый год 5-го августа (на Спас) в конторе, где работал Чепанис, собирались вагонники, приходил поп и совершал освящение яблок. Носили яблоки и мы. Вообще же моя мать придерживалась соблюдения церковных обрядов и все главнейшие из них блюла, и меня таскала в церковь, а потом и подросших детей. Мы постились и говели, и к заутрене ходили. Мне особенно нравилось ходить на всеночную. Чуть ли не в полночь шли мы за железнодорожный мост в церковь, стояли долго, слушая пение, и под утро усталые разговлялись, и, выпив и закусив, крепко засыпали.

А как интересно было в Страстной четверг донести домой огонь из церкви или святую воду в день Крещения. А чего стоил обычай биться крашеными яйцами и выигрывать их. Все же, эти обряды как-то разнообразили нашу жизнь.

А рождественские подарки деда Мороза! Ложишься спать, утомленный возней около елки, которую мамка почти закончила украшать, и сразу засыпаешь. Проснешься среди ночи и с трепетом подсовываешь руку под подушку... Нет, ничего нет. Значит, еще не приходил дед Мороз! Но вот под утро, еще не подсунув руку, ощущаешь щекой что-то неровное под подушкой. Быстро откидываешь подушку, и перед тобой бумажный мешочек с конфетами, апельсином, фисташками, семечками – всего понемножку. А иногда, в очень счастливое Рождество,

еще и какая-нибудь игрушка из тех, что продают в магазине «20 копеек – любая вещь!». Это или маленькая губная гармошка, или подзорная труба. Да мало ли чего любопытного бывает в магазине за 20 копеек!

Передо мной сведения о моих успехах во втором отделении за 1911–1912 года. И успехи эти не должны были радовать ни меня, ни родителей. Если в первом отделении двоек не было, то в этом по двойке просочилось в арифметику и в русский, а также и по рисованию в первой четверти отхватил «два». И по вновь появившемуся предмету – географии, отметки не украшали дневника: все тройки, кроме одной случайной четверки. Так, почти на одних сплошных тройках я переехал в третье отделение.

В третьем отделении за 1912–1913 годы заметного улучшения не произошло: сплошные тройки, три двойки. И лишь экзамены дали хорошие оценки – одну четверку и одну пятерку. В этом отделении появились новые предметы: природоведение и история, но и они мне давались на тройки. И вот я переключался в четвертое отделение.

Отчим однажды замещал машиниста крана в таможне, и я ему носил обеды. Вахтер пропускал меня беспрепятственно, и пока отчим обедал, я лазил по кораблю, по всем его закоулкам, спускался в котельную. Это были счастливые дни!

Раз я подошел к огромному пассажирскому пароходу «Россия», стоявшему в таможне, но попасть на палубу мне не удалось.

Отчим приносил домой разные сладкие вещи: ананасы, финики, кокосы. Покупать такое мы, конечно, были не в состоянии. Замещал он неделю, и я очень жалел, что это время кончилось.

Был где-то за городом склад Корфа, где целыми штабелями лежали мешки с кокосовой кожурой. Охраны почти не было, и мы, мальчишки, запасались этой кожурой, которую потом с удовольствием жевали. Впрочем, не брезговали мы и жмыхом из отходов подсолнечника и конопли, которые были спрессованы в большие ковриги и предназначались для корма скота.

Лазил я и на водокачку. Над баком с водой, загаженным голубями, возвышалась беседка – она была застекленная, но так как стекла в большинстве были разбиты, то голуби основательно завладели всем помещением. Водокачка была очень высокая, и с ее верхушки открывался великолепный вид на Либавское озеро и заозерный лес, а также на территорию города по другую сторону железнодорожного моста. Так, с водокачки, я наблюдал пожар на лесопильном складе и в другой раз грандиозный пожар, когда выгорело несколько кварталов – это было где-то в пределах Гороховой улицы и церкви.

Здесь же, на водокачке, по инициативе пресловутого Сашки Климовича я ловил голубей, а потом продавал их евреям. Сашка же обучил приему, после которого голубь умирал: брал его за голову и встряхивал. Живых евреев не покупали. Когда мать дозналась об этом торговом предприятии, то категорически запретила мне заниматься этим. Она считала это греховным делом, т. к. голубь – святая птица. Впрочем, позже, когда наша семейка еще увеличилась, она отошла от этого канона, и кое-когда в нашем меню появлялась голубятина.

Большим моим увлечением было чтение книг. Я приобретал книги по пять копеек за выпуск, вроде «Пещера Лейхтвейса» или «Шерлок Холмс». Они издавались выпусками с продолжением. Иногда даже отчим заинтересовывался, когда я читал вслух: «А что дальше?». И если «дальше» очень интересовало, то мне давали пятак, и я мчался за выпуском.

Выписывали «газету-копейку». В ней всегда печатался роман с продолжением, и продолжения ждали все, не исключая отчима, который книгами почти не интересовался. Помню, с каким интересом мы следили за «Делом Беймса», отчет о суде над которым печатался в 1913 году в газетах и журналах, или о трагедии Титаника в 1912 году.

Газетчики-мальчишки оглашали криками улицы города. Запомнились их выкрики по-латышски: «Лиепайс атлабас» и «Яупакас зиняс». Выучиться говорить по-латышски я не удостоился. Да и не было товарищей-латышей. Те немногие слова, какие знал, забылись.

Мать не зря рассказывала, что отчим здорово запивал. Иногда и дома не ночевал. А воду надо было качать. Паровозы, хоть и не часто, но подходили к водокачке за водой. И когда мать в смятении смотрела на прибор, показывающий в футах уровень воды в баке, и уровень этот подходил к нулю, а машинист где-то пьянствовал, то она звала меня. Мы быстренько растопляли котел, поднимали пар в котле, и, когда манометр показывал нужное давление, раскручивали маховик. Машина была разболтана и неисправна, и работала под стать своему машинисту. Маховик вместо равномерной ритмичной работы то крутился сверх нормы, то совсем останавливался. С трудом мы запускали маховик и, кое-как накачав нужный уровень воды, мы спасали положение. А потом появлялся и сам машинист.

Периодически отчим ремонтировал машину, но, как видно, не очень он был искушен в знании механики, и машина продолжала стучать, а маховик бестолково вертелся. Делали промывку котла от накипи, чистку частей машины. Во всех этих делах я был первым помощником отчима, особенно при промывке котла: мои руки пролазили в особо узких местах.

Выгружали дрова для водокачки. Пилили, рубили. Однажды полено упало мне на ногу. Палец на правой ноге до сих пор поминает об этой травме: ноготь растет раздвоенным.

Почему-то особенно мне запомнилось, как отчим пришел раз пьяный, кричал на маму и ударил рукой по лестнице на чердак так, что она чуть не сдвинулась. Мать прижала меня к себе, я очень испугался. Вообще же, я не помню, чтобы отчим меня когда-нибудь ударил, но и не гладил. Вот почему мне на всю жизнь запомнился, казалось бы, незначительный случай, когда отчим погладил меня по голове. Не знаю, чем я заслужил эту ласку, но было очень приятно.

Мне уже было 12 лет. Я свободно разгуливал по городу, ходил на взморье. Вдоль берега моря располагался городской парк, назывался он Кургауз. Трамвай шел по парку, задевая ветки. С одной стороны к молу, который отгораживал зимнюю гавань от моря, была возвышенность с какими-то странными сооружениями.

По молу шла железнодорожная колея до маяка, стоявшего в конце мола. Напротив стоял другой маяк. Меж маяками были ворота – выход в море. Рассказывали, что вагон, стоявший на моле, в бурю был снесен в зимнюю гавань.

Вдоль берега тянулась полоса из морской черной травы. В траве мы искали янтарь и часто находили довольно крупные камешки.

Дальше, там, где заканчивался парк, был пляж. Песок на пляже был крупнозернистый, без пыли. Приезжавшие в Либаву всегда увозили с собой песок как сувенир. Берег был отлогий. Купальщики с полкилометра отходили от берега, даже не умевшие плавать – до того было мелко.

Еще дальше начинались рыбацьи поселки. На берегу сушились сети, лежали вверх дном лодки. Начинались дюны, и, чем дальше, тем выше. Берег вел к Полангену – пограничному городку в 60–80 километрах от Либавы.

Ездил я с отчимом на лодке одного знакомого, кажется, Бондаровича, на Либавское озеро ловить рыбу. Озеро было неглубокое – мне по пояс, отчиму и того меньше. Ловили угрей, плотву. Попадали и щуки. Угри кусаются! Когда куски угрей, положенные на сковородку, начинаю поджаривать, то они выскакивают из сковородки. Очень живучая рыба. Но ловить рыбу отчим не очень любил, и, как говорила мать, ему за пьянством некогда.

Запомнился еще один рыбак – осматрщик вагонов Гринюк. Был он рыжий, а его жена черная. Мы раз были у них в гостях, и мне запомнилась богатая обстановка в их квартире. Нельзя сказать, чтобы мы жили очень бедно – концы с концами сводили, но кое-чего не хватало, несмотря на домашнее хозяйство.

Мать нанималась на предприятие «Мариот и Зелигман» – был такой жиркомбинат недалеко от нас на северо-восточной набережной. На нем убивали свиней, привозимых с Украины, изготавливали продукты на экспорт и отправляли за границу. Матери, как работнице, отпускали

за плату кое-что из продуктов. Особенно мне нравился тающий во рту «Коковар». И колбасы тоже были хорошие, даже сама дешевая «Зимагорская» была вкусная.

Не знаю, какие мотивы руководили мною, может быть, пример матери, которая, несмотря на многосемейность, пошла работать, или стремление как-то материально оправдать свое существование, а может быть, желание заработать на книги, но я пошел наниматься на лесопильный завод. Работа заключалась в том, что мальчишки примерно моего возраста – лет 12-ти, складывали в штабеля клепки для бочек. За сложенный штабель платили какие-то копейки. На мою беду, из среды сверстников, пришедших наниматься, я был не самый сильный, и меня не приняли. А предложение нашей рабсилы явно превышало спрос. Мать, когда я пришел с этого неудавшегося найма, успокоила меня тем, что когда я подрасту, то меня обязательно примут. Конечно, она меня не заставляла идти на работу, и я пошел по своей инициативе, но мое стремление к труду мать учла, и все каникулярное время я пас козу с козлятами.

Помню, однажды, мы, мальчишки или по-местному «пуйки», пасли свои стада на путях. Лазили по вагонам, открывали и закрывали двери, пробовали катить вагон, что нам удавалось. Как известно, вагонная дверь в товарном вагоне передвигается на колесиках. И вот, мы общими силами нажали на дверь, чтобы закрыть вагон. Мой мизинец на левой руке попал под колесико, и я с криком, прижимая болтающийся кусок окровавленного пальца, помчался домой. Мать испугалась. Общими силами мне оказали медицинскую помощь. Этот висячий кусок пальца потом прирос, но шрам остался на всю жизнь.

А то был случай тоже довольно болезненный – это когда у нас в доме делали новое крыльцо. Плотники бросили колодку с торчащим в ней гвоздем. Я выходил из дома и соскочил с порога прямо на землю, причем правой ногой наскочил на гвоздь с колодкой. Гвоздь чуть ли не прошел всю пятку, и я шага три пробежал с колодкой на ноге. Эта травма приковала меня к постели, но все кончилось благополучно, и следа на ноге не осталось.

И уже поскольку я начал писать о травмах, я не могу не вспомнить об одном случае, едва не стоившем мне жизни. Около вагонного депо стоял кран для подъема тяжестей. Кран был ручкой с ручным тормозом. Он служил, в основном, для поднятия вагонных скатов. И вот, в после рабочее время, когда сторож спокойно где-то почивал, мы, мальчишки, начали тренироваться в работе с краном. Зацепили скат и, медленно поворачивая ручку, поднимали его. Я прижимал ручку тормоза, и как получилось, точно не помню: то ли я ослабил торможение, то ли крутивший ручку подъема отпустил ее, но ручка, вдруг, бешено завертелась и, задев меня по голове, отбросила от крана. Лоб мой вздулся, покраснел, потом посинел, образовалась огромная шишка. От удара, от сильной боли, да еще от мысли о предстоящем объяснении дома, я чуть не потерял сознания. Прикладывали снег с грязью, и когда немного отошел и обрел способность двигаться, пришел домой. Мать испугалась: «Что с тобой? Где это ты?». «Упал с платформы под навесом», – вру я. «С какой платформы?» – допытывается мать. «Да с этой, где овес», – продолжаю я врать. Вижу, не верит мне мать. Оказала мне первую помощь. Я больше месяца ходил с большущей шишкой на лбу, которая после синей стала желтой. Смотреть на себя в зеркало я старался пореже – уж больно комичной была моя рожа с этой шишкой.

По школьной традиции учителям и ученикам давались клички, и если раньше меня обзывали «мороз – красный нос», то после этого случая за мной укоренилась кличка «лобзик», и, конечно, это не от сходства со столярным инструментом, а от этой злосчастной шишки на лбу. Уже давно сгладился даже шрам от этой шишки, а кличка так и осталась за мной до конца учебы в школе.

Да, хорошо то, что хорошо кончается! И если бы лоб мой был на несколько сантиметров ближе к рукояти, то этих записей не пришлось бы мне делать.

Любил я стоять на набережной, наблюдать за работой грузчиков. Скрипели лебедки, шла погрузка, выгрузка судов. Иногда нас пускали на верхнюю палубу. Мы мечтали, что нас примут юнгами, и мы поплывем в Лондон или, по крайности, поближе – куда-нибудь в Стокгольм или

Гамбург, а уж в Гельсингфорс – это было рукой подать (Гельсингфорс – шведское название столицы Финляндии, города Хельсинки). Но никто из нас, мечтателей, никуда дальше катера, курсирующего по Зимней гавани, не попадал. Да, еще на лодках плавали по Либавскому озеру.

Но идея стать юнгами и повидать свет не покидала нас. Моды на экскурсии тогда не было, а стремления у учеников было, хоть отбавляй! И приходилось эти экскурсии устраивать на свой страх и риск. Правда, раз в год, в мае, нас, учеников, возили на «маевку» в 20 километрах от Ливавы в лес. К пассажирскому поезду прицепляли классный вагон, который заполняли до отказа и везли в Гавезен, от станции шли в лес. Проходили мимо средневекового рыцарского замка, у ворот которого стояли изваяния рыцарей в доспехах. Играли до вечера. Нам давали бесплатно по булочке и стакану молока. Но еду мы брали с собой из дома. Но это было раз в год, явно маловато.

Приходилось изощряться, находить самим объекты экскурсий и способы их осуществления. Иначе говоря, обманывать своих доверчивых родителей. Вот как я, например, обманывал свою мамочку.

Сговорившись накануне с товарищами, я утром, собираясь в школу, брал самую тощую книжицу и, сунув ее под ремень, мчался к месту сбора. Чаще всего собирались около павильона. Шли по шоссе мимо пороховых складов, потом немного по узкоколейке и, когда уже начинали вырисовываться дома небольшого городка Гробина, мы сворачивали с узкоколейки и кратчайшим путем подходили к городу.

Гробин – это уездный город в 11 километрах от Ливавы. В административном отношении Ливава с ее почти 100-тысячным населением подчинялась Гробину, хотя и по территории, и по числу жителей Гробин был лишь небольшой частью Ливавы. К тому же, Ливава был портовый город, и функции уездного города ему были ни к чему.

Сам городок Гробин был настолько мал, что его можно было исходить вдоль и поперек. Да нас интересовал не сам Гробин, а замок ливонских рыцарей XIII века, стоявший вблизи города. На стенах развалин росли деревья. В стенах были замурованные ниши – в них, по преданию, замурованы живыми жертвы феодалов. Наше юное воображение рисовало нам картины жестокого прошлого. Оттуда шли хоть и уставшие, но довольные своим нелегальным путешествием.

Не всегда мы укладывались в часы занятий в школе и приходили домой позже обычного. Мать замечала утомленный вид, спрашивала, почему поздно пришел. «Были у Кашина, ходили к нему домой, и он нас, отстающих, готовил у себя дома», – врал я матери. Кашин – это учитель русского языка, который не только не собирал у себя дома отстающих, но даже и не помышлял об этом. Но наивная моя мама верила этому моему вранью и не пыталась добиться истины – родительских собраний тогда не устраивали. Правда, такие вылазки, которые мы называли «идем вандаровать», вместо того чтобы идти в школу, были не так часты, но воспоминание о них осталось самое благоприятное.

Одно время ходил я в Воскресную школу. Это была какая-то организация христианского толка. Там давали какие-то дешевые книжечки, но они мне не понравились, и я прекратил хождение туда.

Запомнились мне торжества по поводу 300-летия дома Романовых в 1913 году. На площади за железнодорожным мостом было много народа, войсковой парад, оркестры. Я получил книжечку «Краткая история дома Романовых» с иллюстрациями.

Школа не баловала своих питомцев культурными мероприятиями. Кроме ежегодных «моевок» с выездом в лес за 20 километров на станции Гавезен, запомнилась мне экскурсия на проволочный завод в Ливаве. Мы с большим интересом смотрели, как змеей извивались длинные раскаленные полосы железа, как их клещами подхватывали рабочие, засовывали в отверстия меньшего диаметра, и, в конце концов, получалась проволока. Были и в других цехах. Экскурсия эта запомнилась мне на всю жизнь. Уже позже, когда я стал интересоваться

живописью, мне показалась репродукция картины художника Павла Александровича Брюллова (однофамильца знаменитого Карла Брюллова) «На Либавском проволочном заводе». Она мне напомнила лишний раз об одной из редких экскурсий, организованных школой.

Были еще посещения кино, но в этом роль школы сводилась к выдаче разрешений на просмотр какой-нибудь «Соньки – золотой ручки» и тому подобных картин. С удовольствием мы смотрели картины с участием комиков Макса Линдера и «Глупышкина» (прим. – Андре Дид, французский комик, в России ему дали прозвище «Глупышкин»).

Еженедельно мы были обязаны посещать церковь, расположенную на втором этаже Либавского вокзала. Собирались у школы и парами шли в церковь, чтобы покорно выстоять тягучую обедню. Но это было занятие скучное, и задача была лишь в том, как суметь отпроситься «выйти по надобности». Учитель обычно назначал срок возвращения, но «молящиеся» не спешили, и почти половина их слонялась на площади и на вокзале, стараясь не попасть на глаза другому учителю, рыскавшему около вокзала.

Запомнился случай, когда гроб с телом священника Александра Македонского (он был тезкой великого полководца) стоял посреди церкви, и ученики не просились выйти, а вели себя пристойно. Священник этот преподавал у нас Закон Божий. Умер он молодым, кажется, от рака. Ученики его уважали.

Одну увлекательную поездку я запомнил на всю жизнь. Не помню точно, в каком году по России прокатилась мода на «потешных» (прим. – в январе 1908 года император Николай II ввел в народных школах обучение военному строю и гимнастике в целях физического развития молодежи. Вскоре движение «потешных» охватило всю страну). Все школы Либаво-Роменской железной дороги от Либавы до Ромен стали готовиться к сбору «потешных» в Минске. Нас усиленно обучали сокольской гимнастике (прим. – гимнастика с предметами, упражнениями на снарядах, массовые упражнения и построение пирамид), маршировке. Подбирали по здоровью, по успеваемости, по поведению, и, хотя я всем этим требованиям удовлетворял лишь приблизительно, меня наметили для поездки в Минск.

И вот, в один прекрасный день мы, «потешные» Либавской школы, выстроились на площади у вокзала. Около каждого – чемодан с бельем и прочим, в руках – деревянное ружье с металлическим штыком, все в форменных фуражках. Около нас суетятся родители. Мама дает наставления, папы дополняют. Для большинства из нас предстоящая поездка – первая самостоятельная дорога на расстояние в полтысячи километров. Сопровождающие нас учителя не в счет, как-никак это не мамы и папы. Около меня мои родные. Мать, да и не она одна, смахивает невольную слезу: как же чадо едет одно. Рядом со мной мой друг Густав Маткевич, его провожает мама.

В пассажирском поезде нам выделяют классный вагон третьего класса, и мы размещаемся. Выходят родители из вагона, мы повисаем на окнах, три звонка и прощай, Либава! Миновали знакомую по маевкам станцию Гавезен и дальше ехали уже по незнакомой дороге. Оказалось, что лес за Гавезеном заканчивался, а я, например, считал его чуть ли не бесконечным. И уже станция Прекульн (прим. – Приекуле – латышская железнодорожная станция) в 40 километрах от Либавы располагалась в безлесой местности. Прибыли на станцию Муравьево, отсюда идет железнодорожная линия на Митаву (прим. – старинное название города Елгава в Латвии). Потом Шавли, Радзивилишки, Кейданы (прим. – город Кедайняй в Литве), Кошедары (прим. – до 1917 года Кошедары, потом город Кайеиядорис в Литве) и Вильно (прим. – город Вильнюс, столица Литвы). Между Вильно и Минском станция Сморгонь со своими знаменитыми сморгонскими баранками.

И вот, наконец, Минск. Нас отвели на Минск-товарный и разместили в товарных вагонах с трафаретной надписью «40 человек и 8 лошадей». Из досок настлали нары в два этажа, принесли соломы. Простыни мы достали из своих чемоданов. Разместились человек по 5–6 на этаже, то есть немного вольготней, чем предписывалось вагонным трафаретом, и, конечно,

без лошадей. Вагонов было с полсотни, и в них разместились все приехавшие школьники – «потешные» со всей Либаво-Роменской железной дороги. Помню, посмеивались мы с Роменских и Бахмачских хохлов. Они как-то выделялись среди всех: говорили с украинским акцентом, почти все были неуклюжие, упитанные, расхаживали неторопливо.

Состав наш стоял в тупике вблизи настоящих солдатских казарм. Солдат не было, и все хозяйство казарм было отдано в распоряжение нас, «потешных». Стояли в карауле у знамен – каждая школа имела свое знамя. У входа в расположение казарм стояли часовые. Провинившихся посылали на кухню чистить картошку. Повара были настоящие взрослые военные. Порции нам давали как всамделишным солдатам: борщ, каша, хлеб по потребности. Конечно, осилить такой рацион своими ребячьими аппетитами мы не могли и дали волю баловству. Получали тарелку борща и в нем большой кусок мяса, который мы не съедали, и во время обеда эти куски летали над головами. Дружно хохотали, когда кусок попадал кому-нибудь в затылок или лицо. Несчастная жертва ругалась, размазывая по лицу текущий жир, и это еще больше веселило молодых солдатиков. Обед походил больше на веселую кинокомедию и ничуть не был похож на мирную трапезу, о которой учил нас священник на уроке Закона Божьего. Правда, под конец лагерной жизни руководители навели кое-какой порядок, но в основном обедали не только весело, но и с напряжением – нужно было зорко следить и вовремя уклониться от летящей мокрой порции мяса.

Спал я рядом с Густавом Маткевичем. В одну из ночей у Густава расстроился желудок, но бедняга спал настолько крепко, что проснулся уже тогда, когда запах, исходивший от его кальсон, разбудил не только его, но и нас, спящих рядом с ним. Долго Густав ходил сам не свой – было стыдно. Да и мы еле сдерживались от смеха, глядя на него, а он дулся. Да, всякое бывает в жизни! Но время все стирает, и постепенно наши издевательства и насмешки над Густавом прекратились, и хлопец обрел покой.

Ежедневно мы занимались сокольской гимнастикой, военным делом, завтракали, обедали и ужинали. Перед вагоном на земле выкладывали из камушек и кирпичей вензеля, приветственные лозунги и всячески украшали всю территорию, отведенную нам. Готовились к приезду из Петербурга представителей от Царя, которые в один прекрасный день должны были принять парад всего нашего «потешного войска». И вот, этот день настал. Узнали, что делать смотр будут подполковник (или полковник) Назимов и штаб-капитан Пуржанский. Нас построили пошкольно, и мы начали демонстрировать свое искусство в гимнастике и военном деле. Начальство проходило мимо нас, мимо наших украшений у вагонов, замечали лучших исполнителей. После окончания смотра вручили подарки наиболее отличившимся. Подарки были ценные, как, например, карманные часы, что по тем временам не всем учащимся было доступно. Не помню, чем прославилась наша школа, и кто получил подарки. По-видимому, ничем мы не прославились.

Но один прискорбный случай запомнился. Ученик по фамилии не то Жилинский, не то Жуковский в общей уборной уронил часы, подаренные ему. Мы толпились, заглядывали в очко, давали разные советы. Удрученный парень – он был рослый, выделявшийся среди нас своей солидностью, стоял, не зная, что предпринять. Штука обидная! Кажется, часы все же достали.

После смотра мы разъехались по своим домам. Эта игра в «потешных» нам всем понравилась: она расширила наш кругозор, познакомила нас с товарищами из других школ, с новыми местами.

Передо мной лежит один любопытный документ – письмо Городнянского Сиротского судьи от 26 июня 1913 года, адресованное моей матери Мороз Ф.Ф., по второму мужу Гавриловой. В нем пишется, что в ответ на прошение Сиротский суд извещает, что для получения денег на воспитание сироты Мороза Александра необходимо возбудить в суде ходатайство

совместно с опекуном Данченко С.Ф., без него не будут выданы деньги и утверждено право малолетнего на наследство.

Значит, и в 1913 году тянулось дело о моих сиротских делах, и мать ездила из Либавы в Городню, а может даже и со мной. Как-то смутно помнится мне посещение дома опекуна Данченко и сам он.

Теперь, когда я записываю все это, меня возмущает мое безразличие в этом деле, ведь обо всем я мог подробно расспросить мать.

Примерно в этом 1913 году приезжал в Либаву мой дядя по отцовской линии Вилентий Мороз. Был он носильщиком в Минске и хвастался своими хорошими заработками. Ходили мы с ним по городу, и он все жужжал мне о «пропитом» доме, о присужденных мне деньгах за смерть отца, всячески настраивал меня против матери. Я просто возненавидел его за это, и когда он совал какие-то серебряные монетки, я не хотел их брать. Все блага жизни у него основывались на деньгах, на стяжательстве. Принимала его мать натянуто, без особого энтузиазма, но походить с ним по городу меня отпустила. Был он у нас недолго. Уже гораздо позже, будучи взрослым, я слышал, что дядя Вилентий не избежал тюрьмы за какие-то спекулятивные делишки.

Однажды появилась у нас какая-то родственница по линии бабушки Гавриловой из семейства Кайзер. Это была пышная, рослая, белозубая девушка-блондинка с румянцем во всю щеку. Мне она показалась красавицей. Во всяком случае, мое мальчишеское мнение о нашей соседке Яде Яковлевой как о самой красивой девушке резко изменилось не в пользу Яди. Образ Яди сразу как-то померк, и мое тайное преклонение перед ней рассеялось, как дым, и свои симпатии я перенес на этот новый объект преклонения. Не помню, как звали эту приезжую фею, она вскоре уехала в Минск, но Ядя уже не казалась мне таким совершенством, каким была до приезда этой невольной соперницы.

В 1913–1914 учебном году, в четвертом отделении, я учился в основном без двоек. Но зато по русскому устному языку на экзамене заработал двойку, и была назначена переэкзаменовка на осень – единственная за все годы учебы. По остальным предметам экзамены прошли успешно, с одной тройкой по геометрии. И впервые за все время учебы я получил четверку по поведению за нарушение дисциплины в третьей четверти, как записано в сведениях об успехах. А вот в чем выражалось это нарушение дисциплины – я припомнить не могу. В этом учебном году я имел рекордное число пропущенных уроков, т. е. 25, в то время как за предыдущие три года их было только 29. В этом отделении появился ручной труд – учили столярному делу. Я столярничал на тройку. По рисованию по-прежнему выше тройки не получал. Появились новые предметы: физика и геометрия с ее «пифагоровыми штанами». Эти «штаны» мне запомнились надолго и вот, почему.

Преподаватель геометрии Якубовский Александр Александрович был высокий худой мужчина, нервный до крайности. Судя по его внешности, он был болен туберкулезом. И вот, этот мой тезка вызывает меня и спрашивает, что я знаю о теории Пифагора. Я же об этой теории знал только то, что ее в насмешку называют «пифагоровыми штанами», но не более того. Я встал, молчу. Видимо, крайний предел тупости являла моя рожа, и учитель не вытерпел и вкатил мне оплеуху. От боли, стыда и обиды я заплакал, а он как будто смутился, но дело это особой огласки не получило. Вообще же на его уроках ученики вели себя тихо – боялись его вспыльчивого характера. Как ни странно, но я даже после полученной оплеухи не питал неприязни к этому больному человеку.

И, поскольку я вспомнил об одном из учителей, я не могу не вспомнить и не описать то, что сохранилось в памяти о других учителях нашей школы.

Старший учитель Лупинович Я., который расписывался в документах за попечителя школы, был коренастый пожилой мужчина. Его мы побаивались. Кто был попечителем школы – я не знаю.

Учитель Кашин Н., именем которого я спекулировал, обманывал свою мать, втирая ей очки, что я, якобы, оставался у него на дополнительные уроки, был неплохой человек. Конечно же, я ни разу ни на какие дополнительные уроки не оставался, да и Кашину вряд ли был интерес водиться с нами после уроков.

Были учительницы: Цветкова Н., Дружиловская И., учитель Корзун, но я их как-то не запомнил. Они ничем особым не выделялись. Смутно рисуется образ математика Горбачевича В. Этакий типичный белорус, плотный мужчина. И разговор, похожий на разговор моей тетки Лизы Лукашевич, родной сестры моего погибшего отца.

Законоучитель отец Павел Аписит запомнился благодаря своему чрезмерному чреву при низком росте. На уроках этот добродушный толстяк не скупился на отметки.

Высокий, худой учитель Струковский М., который появился в школе незадолго до начала войны 1914 года, был настолько беспомощен и мало авторитетен, что его было просто жаль. Ему сразу же присвоили кличку «Зеленый». Даже я, будучи учеником тихим и трусливым, позволял себе в обращении с ним шалости не совсем невинного свойства. Между прочим, моя единственная «четверка» за все годы учебы по поведению подписана была в сведениях за третью четверть за 1913–1914 годы вот этим самым учителем Струковским. Видно, чем-то допек его и я, а что делали сорванцы?

Учитель географии, Бакит, толстяк низенького роста, был из немцев. С русским языком у него были нелады, и слушая его разговор, нельзя было не улыбнуться. Так, например, слово география в его произношении звучало как «гоограпия», а обороты речи и построение фраз далеко не всегда соответствовали правилам грамматики. Досужие ученички, подражая оборотам речи, характерным для этого учителя, придумали такой афоризм, который все знали наизусть: «Человэк, который не знает гоограпия, называется нэ человек, он идет, идет – сам не знай куда идет». Однажды, кто-то из смельчаков, вызванный к доске Бакитом отвечать урок, процитировал полностью этот доморощенный афоризм, и вызвав дружный смех, был выставлен учителем за дверь.

Перспектива очутиться за дверью во время урока мало кому приходилась по душе. Старший учитель Лупинович имел дурную привычку проходить по коридорам обоих этажей во время уроков. Он останавливался около наказанного и дотошно допытывался о причине, вызвавшей удаление из класса. Часто запутавшийся ученик что-то мямлил или лепетал какую-то неправду, и в результате получал по поведению сниженный балл или записку о вызове родителей.

Баловались подходяще, особенно на переменах. Раз, помню, два таких петушка-ученика в чем-то не сошлись мнениями и стали тузить друг друга. Потом покатались по земле, у одного с носа закапала кровь. Я испугался вида крови и побежал за учителем. Учитель вполне хладнокровно выслушал меня, но к дерущимся не подошел. Я недоумевал: меня удивило безразличие учителя. Дерущихся разогнала учительница.

Из старого здания школы мы уже переселились в новое на Александровской улице. Новое здание было обширнее старого, с большим двором с приспособлениями для занятий гимнастикой. И гораздо ближе к нашей квартире.

Все чаще мы ходили в кино, там пичкали зрителей разным детективным хламом. Кто-то удирал, кого-то догоняли, стреляли (хлопали из пугача за полотном – кино-то было немое), гремел гром (за полотном его воспроизводили листом железа). Сеанс сопровождался игрой на пианино. И вот, однажды, нас обрадовали боевиком. Какой-то бандит в маске, в накинута на голову пиджаке с вытянутой вперед правой рукой шел на какого-то врага. Видел этот фильм и ученик нашего класса Чачин Саша. На большой перемене он решил продемонстрировать действия бандита. Снял пиджак, накинул его на голову и, выставив вперед правую руку, пошел на врага. Его выступление еще более смешило от того, что у него одна нога была короче другой, и его ковыляющая фигура с накрытой головой и протянутой рукой была гораздо эффектнее,

чем у бандита в кино. Мы дружно гоготали, расступаясь перед прыгающим Сашей. Он же, накрывшись пиджаком, вслепую шел на невидимого врага, пока не послышался звон большого разбитого стекла. Сашина рука, защищенная пиджаком, не пострадала, но отметка по поведению пошла вниз, да и родителям пришлось раскошелиться на стекло.

Интересно сложилась судьба Чачина Александра Федоровича. После революции он был председателем Дорпрофсожа (прим. – Дорожный профсоюз работников железнодорожного транспорта) Управления Белорусской железной дороги в Гомеле. Раз, едучи из Гомеля в Щорс (Сновск), я напомнил ему об учебе в Либавской железнодорожной школе, о выбитом им стекле, но он вел себя высокомерно, чувствовалось, что высокий пост в Дорпрофсоже вскружил ему голову, и названное Лениным «комчванство» мешало ему спуститься с высоты своего служебного поста и по-товарищески поговорить и вспомнить об учебе в «академии».

Были и еще встречи с ним, и всегда чувствовалось, что возобновлять знакомство со мной, каким-то беспартийным бухгалтером, у него не было ни малейшего желания. Слишком мелкой фигурой я был для него. А может быть, он боялся, как бы я на правах старого школьного товарища не начал бы добиваться у него, как у власть имущего, каких-либо привилегий для себя. Кто его знает!

Вообще же, отдать ему справедливость, на собраниях он умел потешить слушателей веселой шуткой, вызывающей дружный смех, и речи его слушали с интересом. Был он заядлым болельщиком футбола: сидящие около него не столько смотрели на футболистов, сколько на Чачина, не сидевшего спокойно, а прыгающего и издающего какие-то нечеловеческие звуки.

Теперь, когда я вспоминаю школьных учителей и учеников, память моя уже не срабатывает, как нужно. Например, имена и отчества учителей забылись окончательно, да и фамилии я нашел в сохранившихся у меня документах.

Была у меня записная книжка «либавского периода жизни». К сожалению, она не сохранилась. Много чего там было записано по датам. Помню, на вопрос – кто ваш любимый писатель, я написал: «Гоголь». На вопрос – кто из поэтов любимый, я, конечно, написал про Пушкина, но тут я покривил душой, потому что к стихам его я был равнодушен и написал так, чтобы не обидеть Пушкина. А вот Гоголя я да, любил.

Был еще в книжечке записан каталог по минералогии. Я пристрастился собирать разные камни. Они у меня хранились в коробке из фанеры, обернутые ватой. На камнях были приклеены этикетки с названиями. Особенно интересовали камни-кругляки, содержавшие в середине своей окаменелые раковинки. Чтобы обнаружить такую раковину, нужно было разбить камень об рельс. Мы так увлеклись этим поиском, что путевские рабочие стали нас гонять.

Интересовался я нумизматикой. Была у меня порядочная коллекция старинных монет, большую часть которых я нашел на нашем огороде вблизи квартиры. Монеты Петровских времен выкапывал вместе с картофелем. Были и современные иностранные монеты. Помню, каким особенным почетом пользовалась у меня датская серебряная монета с изображением какого-то короля. По размеру она была с царский серебряный рубль. Были немецкие, английские, румынские с дырочкой посередине.

Собирал почтовые марки, но это было второстепенное увлечение, и порядочного филателиста из меня не получилось.

Незадолго до первой мировой войны, примерно в 1913-м или в начале 1914 года по «мудрому» распоряжению царского правительства началось разоружение Либавского военного порта. Ночами Либава освещалась заревом пожаров – горел уголь в порту. В своей неприкрытой наглости распорядители дошли до такого идиотизма, что распорядились сжечь то, что можно было увезти вглубь страны. Жители Либавы, наиболее жадные и смелые, днем и ночью везли с порта уголь и керосин, хотя официально это запрещалось и преследовалось. Прошел слух, что мальчик утонул в цистерне с керосином.

Вся эта вакханалия, освещенная пожарами, длилась более недели. Так неприкрыта была эта деятельность царского правительства, что не только нам, мальчишкам, но и самым отъявленным черносотенцам, верящим в «мудрость» царя и его клики, было ясно, что в этих действиях есть что-то преступное против России.

Когда добро в порту было сожжено и уничтожено, власти ненадолго успокоились, но атмосфера была тревожная. Газеты писали о результатах приезда в Петербург президента Франции Пуанкаре, о политических союзах и прочем.

Я по малолетству мало что понимал в политике, но вздохи старших и ожидание чего-то неприятного вселяли беспокойство в мою юную душу.

Мы жили около железнодорожного моста через канал. И вот, пошли слухи, что мост будут взрывать. Несколько ночей наша семья спасалась на путях в километре-полтора от дома. Всегда слух оказывался ложным, и мы возвращались домой. Однажды ночью все побежали «спасаться», в суматохе забыли меня, когда вернулись, я преспокойно спал. Вскоре перестали поддаваться панике, и беготня прекратилась. Мост стоял целый и невредимый. Кто и для чего сеял панику – неизвестно.

Кое-что о моем пристрастии к чтению я уже упоминал, постараюсь дополнить воспоминания на эту тему. Книгами я начал интересоваться с той поры, как научился читать. Все попадавшие мне деньги шли на книги. Как ни соблазнительны были копеечные булочки «жулики» и ириски – две на копейку, я предпочитал им покупку книг.

Много несъеденных завтраков ушло на приобретение выпусков Ната Пинкертон «Король сыщиков», Шерлока Холмса и других бульварных книжек. А в покупке 74-х выпусков «Пещеры Лейхтвейса» в какой-то доле участвовала и мать, любившая слушать чтение не только этого занимательного романа о смелом разбойнике Генрихе Антоне Лехтвейсе и его красавице жене Лоре, поменявшей аристократическую роскошь на опасную и полную лишений пещерную жизнь с разбойниками, но и другие подобные.

Покупал журналы, газеты, и мать, а иногда и отчим, живо интересовались событиями вроде дела Беймса в 1913 году, якобы убившего в 1911 году с ритуальной целью киевского мальчика Ющинского.

Помню, с каким наслаждением я читал и перечитывал роман Раскатова «Антон Кречет». Этот разбойник, обладавший большой физической силой и наделенный автором благородным характером, долгое время покорял мое воображение и служил образцом положительного героя.

А что плохого скажешь о таких великолепных журналах как художественный «Пробуждение» и юмористический «Новый Сатирикон» Аркадия Аверченко? В Аркадия Аверченко я был просто влюблен, и все его книжки в дешевом издании я имел.

Классиков тогда я не читал, кроме обязательного чтения их по программе. Правда, Н.В. Гоголя я почитывал и кроме школы.

Очень необычная дружба на почве книголюбия возникла у меня мальчишки-ученика с семейной парой Красько. Жили они за железнодорожным мостом, недалеко от нашей старой квартиры. Они нанимали частную квартиру. Небольшая комната была перегороджена ширмой. Муж, Михаил Давыдович Красько, работал помощником машиниста на железной дороге. Его жена Юлия Михайловна – домохозяйка. Детей у них не было. Чета Красько также, как и я, любила книги, и это сближало нас, несмотря на разницу в возрасте. Частенько, особенно в последние годы нашего проживания в Либаве, я шел к ним с приобретенными книгами, еще не читанными мной.

Невольно пришлось быть свидетелем такого комичного случая. Я принес им комплект выпусков «Гарибальди». Дядя Миша возвратился с поездки, и я, чтобы не мешать ему переодеваться, сел за перегородкой и уткнулся носом в книгу. Поглядывая украдкой в узкую щель, я видел, как тетя Юля помогала ему раздеваться, и они о чем-то шептались. Она сняла ему

штаны, и он встал двумя ногами в большой таз и начал мыться. Тетя Юля помогала ему, присев на корточки, потом она хихикнула, дотронулась руками до одного, обычно закрытого, места, пощекотала, а дядя Миша взъерошил ей волосы на голове. Я чуть не заржал при виде такой картинки, но сдержался. Они, по-видимому, или забыли о моем присутствии, или были уверены в моем благородстве и скромности. Когда вымытый дядя Миша появился из-за перегородки, я с самым смиренным видом читал книгу и ничем не выдал, что был свидетелем их маленькой семейной тайны. Потом они отправили меня домой, и так получилось, что больше я их в Либаве не видел. Начались события, помешавшие мне хотя бы забрать у них свои, нечитанные еще, книги.

Уже будучи пенсионером, я в 1967 году зимой шел за гробом моей матери. Хоронили ее на новом Щорском кладбище (прим. – г. Щорс иногда упоминается как Сновск) в лесу за семафором на расстоянии двух километров от дома. Я обратил внимание на идущего вблизи старичка, вижу, и он на меня поглядывает. Спрашиваю: «Кто это?», отвечают: «Это Красько». Вот, поистине гора с горой не сходится, а люди – да. Так, через более чем полсотни лет мы снова возобновили знакомство. Я заходил к ним, навещал уже больную тетю Юлю, которая все сетовала, что мы так поздно встретились. Вспоминали либавский период жизни, книги. Они по-прежнему книголюбыв: берут книги в библиотеке. Тетя Юля, кроме чтения книг, сочиняет стихи. Некоторые из них сохранились у меня, правда, стихи далеки от совершенства. Умерла тетя Юля в 1968 году, на кресте табличка: «р. 30/VIII 1892 г. ум. 1968 23/IX».

Красько М.Д. после смерти жены жил в г. Сновске на ул. Володарского, 36. Ходил в библиотеку, любил выпить. Наезжая в Сновск, я заходил к нему, он был мне рад. Умер он в 1974 году в возрасте 91 года. На его могиле, рядом с могилой жены, табличка: «р. 21/IX 1883 ум. 3/II 1974».

Наследники Михаила Давыдовича передали мне альбом 100-летия Сновского депо, подаренный ему как бывшему работнику руководителями депо. Альбом бережно хранится у меня.

Уже несколько дней носились тревожные слухи о войне. И вот, 18 июля 1914 года, наконец, было официально сообщено об объявлении Германией войны России.

За насыпью, около пакгаузов с овсом, где жил сторож Карпович, погрузочная площадка заполнилась новобранцами. Либавцы были встревожены слухами о возможном нападении немцев с моря. Ведь пограничный город Поланген находился всего в 80 километрах от Либавы. Действительно, 20 июля 1914 года, т. е. через два дня после объявления войны, вдруг с моря раздались залпы орудий. Это с немецкой эскадры летели снаряды в пролетарский район новой Либавы, в так называемую Чертову деревню. Мы жили в старой Либаве, которая заселена была немцами и буржуазией, и поэтому обстрел не задел нашего района. Кирха в центре старой Либавы служила ориентиром, указывающим немцам, куда не следует стрелять.

По газетным сведениям, немцы выпустили в этот день 300 снарядов, в основном на район новой Либавы, а также обстреляли госпиталь в конце старой Либавы около Розовой площади.

Так закончилась мирная жизнь, и для либавцев наступили тревожные дни.

Осколки от снарядов стали сувенирами, за которыми охотились не только дети, но и многие взрослые. Помню, вскоре после начала войны над Либавой появился дирижабль типа «Цеппелин», сбросил над заводом пару бомб, не причинив никакого вреда, и когда удирал, то его подбили за городом наши солдаты. Началось паломничество к месту катастрофы. Кусочек желтой оболочки с «Цеппелина» был у каждого ученика. Особо предприимчивые мальчишки хорошо поживились, меняя кусочки оболочки на разную мелочь.

Помню, несколько раз появлялся высоко в небе аэроплан, и по нему бесполезно стреляли из винтовок солдаты. Иногда аэроплан сбрасывал над заводом пару бомб, и этим ограничивались редкие воздушные налеты. Но все же у либавцев появился страх ожидания беды не только со стороны моря, но и с воздуха.

Началась эвакуация. Водокачку закрыли, отчиму приказали разобрать машину и погрузить в вагон. Его назначили машинистом водокачки, расположенной около паровозного депо и мастерских.

С нашей квартиры, где мы прожили семь лет, мы переселились в другую, тоже казенную, около проволочного завода. Двор нашей новой квартиры был отгорожен высоким забором завода. Виднелись заводские трубы, продырявленные немецкими снарядами.

В этом несчастливом 1914 году в нашей семье произошло изменение – родился еще один брат Петр. И уже на новой квартире заболел и умер брат Миша. Возможно, что от менингита. Похоронили его на кладбище в конце Суворовской улицы. Смерть эту особенно болезненно восприняла моя мать. Да и мы все горько плакали. Это была первая смерть в семье Гавриловых. Движимый чувством любви и жалости к умершему братику, я даже пытался сочинить стихи, посвященные его памяти. Начинались они примерно так:

«Умер наш славный братик Миша,
Над ним появилась земляная крыша».

На этих двух строчках творчество мое бесславно выдохлось. Да и дальнейшие события сложились так, что было не до сочинительства.

Я уже перешел в последнее, пятое, отделение в 1914–1915 учебном году. В этом отделении появился новый предмет – «Гигиена и подача первой помощи». Осваивал я эту помощь на тройку. Улучшений в отметках против прежнего не было – средняя тройка. Оно и неудивительно – ученье уже не шло на ум. На уроках не столько прислушивались к словам учителя, сколько к шумам за окном. Если люди на улице не шли, а бежали, значит, что-то заметили, может быть, эскадру на море или самолет. Тогда и мы срывались и выбегали на улицу. Правда, было много случаев необоснованной паники, но были и обстрелы с моря, и бомбы с аэроплана. Тревожно жили. Следили за движением немцев на фронтах, и каждый день приносил невеселые новости. Говорили и писали о зверствах немцев над мирным населением. Наиболее предприимчивые эвакуировались из города. Особенно тревожило нас приближение немцев к Либаво-Роменской железной дороге.

Один день особенно запомнился мне. Шли занятия в школе. Школа была на углу Александровского шоссе и Вокзальной улицы, а наша новая квартира – на аллее около паровозного депо в районе новой Либавы по соседству с Чертовой деревней. От школы до дома около двух километров. И вдруг – суматоха! Не помню, каким путем сообщалось жителям о появлении неприятельской эскадры, вернее всего жители передавали эту весть друг другу, но вся Либава очень быстро приходила в движение: кто бежал домой, кто, уже с узлами, бежал из дома к окраине. Разбегались из школы мы под гром орудий. Я бежал домой во время обстрела, над головой свистели снаряды. Немцы били по ориентиру – заводским трубам проволочного завода, рядом с которым была наша новая квартира. День был солнечный, и снаряды блестели, пролетая над домом. Дома уже повязали узлы, и все наше семейство двинулось в конец города на Александровское шоссе. Миновали последний завод (кажется, Беккера) и подходили к пороховым погребам, в это время целая серия снарядов упала по обочине дороги в болото. К счастью, упавшие близко от нас два снаряда нырнули в болото справа от дороги и не взорвались, и мы отделались испугом. Когда это произошло, движение беженцев приостановилось. Старый латыш пытался спрятаться под фартук своей супруги, и хоть было и не до смеха, беженцы невольно заулыбались, и это несколько разрядило общую тяжелую атмосферу.

Беженцы шли и ехали сплошной толпой, одни – чтобы только уберечься от стрельбы, а потом вернуться по домам; другие – чтобы больше вообще не возвращаться в Либаву.

Мы не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы решили временно пожить у кума Бардашевича на станции Прекульн (прим. – латышское название Приекуле). Шли до ближайшего разъезда. Петю несли на руках, Иван и Аня шагали сами. Дошли до разъезда, сели в товарный вагон стоящего там состава, и нас довезли до станции Гавезен. В Гавезене солдаты грузили

снаряды крупного калибра. И вот, мы приехали на станцию Прекульн, где временно остановились у Бардашевича. Квартира у него была небольшая, а семейство чуть поменьше нашего, спали на полу вповалку.

Бомбардировка Либавы, которая загнала нас сюда, была одной из самых крупных, и мы некоторое время не возвращались домой – так напугались. Отчим вернулся сразу же, ему нужно было работать, я через день-два тоже поехал. Наша квартира была цела, а квартира ремонтного рабочего в доме напротив была разбита попавшим в нее снарядом. Люди не пострадали – были в бегах, а их нехитрое имущество было испорчено.

Несколько дней я ездил из Прекульна в Либаву в школу. Занятия в школе шли. После учебы ехал в Прекульн, где, кое-как переспав, рано утром высматривал огоньки товарно-пассажирского поезда, который вез меня в Либаву. Наконец, мои домочадцы осмелели, и мы все вернулись домой в Либаву.

Я учился. Можно судить, какое качество учебы было! Отчим уже оформил перевод в Сновск и разбирал свою новую водокачку около паровозного депо. Получили наряд на вагон, погрузили в него вещи, а так как вещей нажили не ахти как много, то догрузили вагон тремя кубометрами дров. Я с бабушкой Гавриловой должен был остаться, дабы окончить свою «академию». Оставили на нашу долю энное количество вещей, подушек, одеял и прочего, а я сдуру и немало книжек, и все пассажирским поездом укатали на Украину в Сновск. Вагон с вещами своим маршрутом покатил туда же.

И вот, остались мы вдвоем: бабушка Екатерина Ивановна Гаврилова и я.

Я бегал в школу, которая продолжала функционировать. Некоторых учеников нашего отделения уже было не видно. В том числе и Мани Малевич, красивой черненькой девочки, на которую многие из учеников поглядывали на уроках. Ученье можно было только условно назвать уроками. Они почти не интересовали ни учителей, ни учеников. Все ждали развязки. До выпускных экзаменов оставалось немного времени, и надо было, хоть с грехом пополам, окончить школу и получить свидетельство. Ведь около семи лет жизни протекло в ее стенах!

Прислушивались к разным слухам: и правдивым, и ложным. Правда, ложных было больше – кому-то нужно было сеять панику. При малейшем подозрении на налет или при появлении в море немецкой эскадры мы разбегались по домам. Бабушка усиленно курила, а курила она так, что самые завзятые курильщики не могли с ней соревноваться. Часто даже ночью вставала и дымила. Удивительно, что ее неумеренное курение никак не отражалось на ее комплекции – полнота ее была сверх всяких габаритов.

Каждый день узнавали нерадостные вести об успешном продвижении немцев на фронтах, и однажды нас как громом поразила весть: немцы заняли станцию Бейсагола около Радзивиличек. А это означало, что наша Либаво-Роменская железная дорога перерезана, и прямой путь на Сновск нам заказан, удирать придется окружным путем через Ригу.

Писем из Сновска от наших не было. Нам казалось, что они не успели проехать злосчастную Бейсаголу, и их захватили в плен немцы.

С каждым днем немцы все ближе подходили к Либаве, и когда заговорили о занятии ими станции Муравьево, что в сотне километров от Либавы, то наша тревога и боязнь очутиться в плену у немцев, о зверствах которых писали газеты, сменилась решимостью удирать во что бы то ни стало и любым путем туда, в родной Сновск, где ждут нас наши родные. Мы все же верили в то, что они добрались благополучно.

Ни о каких экзаменах уже не было и речи, нас распустили.

Поскольку станция Муравьево, от которой был путь на Митаву, была уже у немцев, а узкоколейка на Газентоп бездействовала, и ее паровозы были эвакуированы, то железнодорожных путей отхода для нас не было. Оставался единственный – пеший ход. К нему мы и начали готовиться. Бабушка навязала узлов из подушек, одежды и прочего. Я связал объемистую пачку книг, и когда взвесили эти свои ноши, то стало понятно, что далеко нам с этим багажом не

уйти. Уменьшили вес, выбросив лишнее и оставив наиболее дорогое, и все же вес узлов был непосильным. На нашу беду началась какая-то суматоха: не то обстрел с моря, не то налет с воздуха, и мы, бросив свои облегченные узлы, с тяжелым чувством окинули взглядом квартиру, свое нехитрое остающееся имущество, и вышли. Не помню, закрыла ли бабушка на замок дверь. Возможно, что и нет. Тяжело было расставаться с Либавой! У бабушки в руках маленькая сумочка, у меня тоже какая-то мелочь. Узелок с едой. Вышли на Александровское шоссе и влились в толпу беженцев. Вдали виднелась Либава, в нескольких местах были пожары. Прощай, Либава! Хорошее воспоминание осталось о тебе, несмотря на все невзгоды военных 1914–1915 годов!

Миновали Гробин, издали посмотрели на развалины замка – место наших нелегальных паломничеств, и к вечеру подошли к какой-то избушке. В каморке, напоминающей хлев (за перегородкой что-то мычало), на грязном полу вповалку с такими же бедолагами мы переспали и рано утром продолжили путь к Газентопу. На ноге у меня появились волдыри, но идти босиком было холодно. Не помню точно, дошли мы до Газентопа или свернули на дорогу, не доходя до него. И вот, мы идем по дороге на Гольдинген. Редкие встречные местные жители пугают нас слухами, что, де, уже недалеко видели немецких кирасир в касках. Это придало нам энергии, и мы стали двигаться быстрее. Перспектива встретиться с отрядом немцев страшила нас. Бабушка только пыхтела, но шла.

Впереди показался городок Гольдинген, и вот мы уже на одной из его улиц. Остановились у дома с какой-то полицейской вывеской. Отряхнули пыль, бабушка решительно вошла в большую комнату, я за ней. У широкого стола сидел какой-то полицейский чин в форме, у окна стоял мужчина в штатском. Бабушка пустила слезу, я шмыгал носом. Она просила о помощи, жаловалась, что ей трудно идти пешком, что нет денег. Полицейский со скучающим видом слушал бабушку и, когда она замолкла, изрек: «Бабка, беженцев много – не вы одни, обращайтесь в эвакупункт». Штатский подошел к бабушке, вынул бумажный рубль и дал ей. «Дай вам Бог здоровья», – поблагодарила бабушка, и мы вышли.

Гольдинген расположился в живописной местности, в основном одноэтажный городок. Видны некоторые высокие сооружения: кирхи или древние замки. Я был бы не прочь походить по городку, но бабушке побоялся даже заикнуться на эту тему – ей было не до экскурсий. Запомнился высокий мост, внизу река Вента. Теперь город Гольдинген называется Кулдига.

Расспросили ближайшую дорогу к станции железной дороги. Впрочем, особенно уточнять маршрут не приходилось. Потому что к ней двигался поток беженцев, нужно было только влиться в этот поток. И вот, мы влились, позади остался Гольдинген.

Прошли несколько километров, и бабушка, уверявшая меня, что денег у нее только рубль, достала из сумки три рубля и договорилась с извозчиком, и мы поехали. Не выдержала старушка пешего хождения и пожертвовала деньги из своего «НЗ»! Да и мои волдыри на ногах при виде подводы заболели еще больше. Местами я шел пешком – так договорились при найме, потому что воз был нагружен разной рухлядью, но все же большую часть пути я ехал. Миновали густой лес, и перед нами появился железнодорожный путь. С каким восторгом смотрел я на этот путь с обычными железными рельсами! Эти рельсы должны были спасти нас от немецкого окружения и плена, они подняли наш упавший дух и вселили надежду на скорое свидание с родными. Ведь за эти тревожные дни, после занятия немцами Бейсаголы, и Сновск, и наши дорогие родные, стали казаться чем-то недостижимым.

Подъехали к небольшому пассажирскому зданию с вывеской «Стенде». На пути в тупике вагон. Это была небольшая станция Виндаво-Рыбинской железной дороги. При станции поселок. Бабушка рассчиталась с возчиком. Мы переночевали на квартире старичков-латышей. Старики, муж и жена, приняли нас весьма приветливо, но чувствовалось, что они не прочь были бы получить с нас за ночевку. К сожалению, денег у нас уже не было. Да и вещей никаких не было.

Потом попали в поезд, идущий по направлению к Риге. В поезде тесно. Ехали без билетов как беженцы. Проехали город Тункум, почти весь деревянный, миновали его и скоро сошли на вокзале в Риге. На вокзале многолюдно, потолкались около него, а дальше идти не решились. Да и домой стремились. Так и не повидав красавицы Риги, о которой я слышал много интересного в школе, мы сели в поезд, идущий в Двинск.

В Двинске на вокзале много людей, маршируют солдаты. В эвакупункте подкрепились и ждем поезд на Вильно. Из Двинска до Вильно поезд идет по родным местам Охотинского, которому я писал письма в город Видзы.

В Вильно опять пересадка. Походили с бабушкой по узким улочкам Вильно. Были у Остробрамской Божьей матери – это у поляков нечто похожее на московскую Иверскую Божью мать. К сожалению, ничего кроме этой иконы мне не запомнилось о Вильно.

Потом Минск. Вообще, в Минске я бывал несколько раз. Это когда ездил на смотр «потешных», потом с матерью по сиротскому делу, теперь с бабушкой. Во время этих поездок я в Минске встречался с теткой Лукашевич Е.А. и с ее родней.

И, наконец, Сновск! Наш родной Сновск. Была радостная встреча со слезами радости. Ведь, если мы, будучи отрезанными, чувствовали себя, как в плену, то и они много тяжелых дней прожили в тревоге за нас.

Некоторое время жили почему-то в деревне Низковка, в четырех километрах от станции Низковка, а от Сновска в 24 километрах. Может быть, из-за наплыва беженцев в Сновске не было квартир, и нам пришлось временно жить в деревне Низковка. Что-то делал на водокачке отчим.

Как оказалось, доехали они из Либавы пассажирским поездом без всяких приключений. Вещи, отправленные по наряду в товарном вагоне, где-то путешествовали и прибыли через несколько месяцев в Сновск. Из-за неисправности вагона где-то, чуть ли не в Двинске, была перегрузка в другой вагон. Кое-что из вещей было поломано, чего-то не оказалось, но дрова получили целыми, без повреждений.

Мы еще долго рассказывали о своих дорожных невзгодах. Вспоминали Либаву, мирную жизнь в этом чистеньком, уютном городе, ставшим нам чуть ли не второй Родиной.

После Низковки, где мы недолго жили, перекочевали в Сновск, в район между Костельной улицей и Черниговской, недалеко от ветряной мельницы. Мы жили на квартире у Некрасова по соседству с Пуговкиными и Туриком. Недалеко проживала тетка Меланья (так ее все называли), которая пекла хлеб и продавала его на базаре. Хлебопекарен тогда не было – пекли каждый сам себе или покупали на рынке. Правда, была булочная австрийца Щица (тайного революционера), но его пекарня выпекала в основном булочки.

Помню, как раз ночевали в хатке под соломенной крышей, стоявшей на углу Костельной и нашей улицы, принадлежавшей главному кондуктору Борисенко. У Борисенко был сын Иван и дочь Христина. В последствии Иван был председателем месткома, а Христия трагически погибла – утонула в реке Сновь.

Вскоре нас, выпускников Либавской школы, вызвали в г. Минск для сдачи выпускных экзаменов, которые мы из-за эвакуации не успели сдать в Либаве. После экзаменов взамен временного удостоверения дали свидетельство об окончании двухклассной Либавской железнодорожной школы 15 апреля 1915 года. Свидетельство выглядело так: по двум предметам – 5, по шести предметам – 4, и по трем – 3.

Отчим работал в Сновском паровозном депо слесарем. Зарплата небольшая. Семья порядочная, уже семь душ (с бабушкой). Мне уже 14 лет. В Сновске из учебных заведений только железнодорожная школа, и если бы стоял вопрос о дальнейшей моей учебе, то ближе Гомеля учебных заведений не было. Конечно, определить меня в учебное заведение в Гомеле отчиму было не по средствам. Да и особого стремления и способностей я не обнаруживал, и единственный выход был работать.

По натуре своей я лентяем не был, и, хотя меня никто не неволил, я сам стремился определиться на какую-нибудь работу. Можно было попытаться поступить на железную дорогу «подметалой», благо мусора на путях после беженцев и пленных было предостаточно, но я помнил, что у меня за плечами семь лет учебы и, хоть и маленькое, двухклассное, но образование. И я нацелился на должность конторщика при дежурном по станции.

Заявление мое начальник со станции Коваленко благосклонно принял и разрешил приходить в дежурную комнату в качестве бесплатного практиканта – списчика вагонов подвижного состава. В обязанности списчика входила перепись номеров вагонов, прибывающих в Сновскую поездов (прим. – железнодорожная станция Сновская). Если состав прибывал ночью, то списывание усложнялось тем, что мешал фонарь, а он частенько потухал. А если было холодно, то руки не держали карандаш. Штатным списчиком был Юльян Круховский, живой черноглазый паренек, тот самый, который впоследствии женился на Рае Ботиной. Дублером к нему я и был приставлен. Вначале бегали вместе, а потом он посылал меня самостоятельно. Вспоминаю, как темной ночью при сильном холодном ветре я бегу списывать прибывший состав вагонов в сорок. Состав остановился в карьере около «горы счастья», примерно в километре-полтора от станции. Кругом лес – ни зги не видать! Руки мерзнут, с носа капает, и, конечно же, страшно. А номера шестизначные. Кончил списывать – бегу к станции. Круховский, посмеиваясь, подпускает меня к грубке (прим. – печь) погреться.

Помню его дурачество с коверканьем слов. Например, вместо слов: «Мороз, печка не горит», он говорил: «Ромоз, печка на рагит» и т. п. Сам смеялся от души и дежурные, находя в этом нечто смешное, тоже гоготали.

Дежурный по станции, некто Миланович, запомнился мне как виртуозный сквернослов: речь его никогда не обходилась без ввода матерщины. Его не стесняли ни присутствие начальства, ни женщины. Пассажиры оторопело глядели на окошко дежурного – это в телефонную трубку орал Миланович.

Немало ночей «клевал» я над грубкой, и вот, вскоре, практика моя закончилась. Начальник станции объявил, что после длительного бюрократического разбирательства пришел ответ: «Морозу в приеме на работу отказать из-за малолетства». Даже взяв во внимание трагическую смерть моего отца на железной дороге и многосемейного отчима, принимать юнцов моложе 16-ти лет запрещено.

Итак, по службе движения мне не повезло. Остался один путь – на путь!

1915–1920 гг. Город Сновск

Если до Либавы, живя в Сновске, мы были домовладельцами, и у нас проживали квартиранты, то после эвакуации из Либавы мы сами превратились в квартирантов.

После временного и недолгого проживания в Низковке в Сновске мы основательно и надолго осели квартирантами у Аникеевко Данилы Артемьевича на Старопочтовой улице, дом № 27. Хозяин Аникеевко ездил главным кондуктором, и, как болтали злые языки, эта его прибыльная должность помогла ему приобрести два довольно больших дома. В большем жил сам хозяин и сдавал еще две квартиры, а во втором, меньшем, поселились мы и наш сосед, поездной машинист Бычковский, живший с женой и сыном.

В семье Данилы Артемьевича преобладали женщины. Сама хозяйка была женщина болезненная, что не помешало ей пережить своего здоровяка Данилу. Дочери: Анна и Мария, ставшие потом учительницами, Валентина – комсомолка 20-х годов, и маленькая Саша. Сыновей было двое: Данила Данилович и Николай.

По соседству жила Козлиха (Козлова) с мужем – столяром депо, и сыновьями Иваном и Андреем, была и дочь – высокая девица. Козлиха, женщина злая и вздорная, напоминала ведьму.

Однажды, когда моя мать пожаловалась на ее сына, побившего меня, Козлиха схватила метлу и набросилась на мою мать с криком: «А насрать, ты еще щалиться здумала, хай собі бьются. А ты не встривай!».

Через улицу стоял дом машиниста Колбаско Павла с высоким крыльцом. У него три сына: Трофим, Иван и Василий, и дочери. По соседству с Козлихой – очень ветхий дом с крышей из соломы, в нем живет старушка Овчинникова, у нее сын Аркадий Мышастый и дочь Шура. Далее живут Вестфали с сыном Павлом Константиновичем, а еще далее – Николаенко, Руквичи, Табельчуки. На развилке Старопочтовой и Мостовой (Церковной) квартируют машинист Ботин с женой и дочкой Раей, почти лилипутского роста. По соседству с ними жил старик Пенников с женой, дочкой Верой и сыновьями Сергеем и Жоржем. Пенников вел себя очень оригинально: собрав ватагу подростков, он играл с ними в войну. Через улицу, напротив нас, жили в своем доме Ковальковы. Ковальков был родом из Людиново, около Брянска, работал в железнодорожном депо чуть ли не мастером. Жена его, сколько я ее помню, всегда сидела за шитьем. У них сыновья Николай и Александр и две дочери Мария и Лиза. Рядом с нашим домом был дом поездного машиниста Горобцова, жена его – учительница, она учила Щорса Н.А. в железнодорожной Сновской школе. У них сын Ваня. Ну и дальше такие фамилии, как: Кисель, Святский, Фадеевы, Морозовы, Колпаковы – с ними я мало сталкивался и не общался.

Упиралась наша улица в кладбище, где похоронен мой отец. За кладбищем пески и станция Носовка. Около кладбища церковь и базарная площадь.

Не помню точно, какое хозяйство было у нас на квартире у Аникеенко, но что были куры и свиньи – это точно.

Запомнился случай, когда отчим и я гонялись по двору за свиньей, насилу загнали ее в сарай. И отчим напряг все свои силы, а он был мужчина дюжий, повалил свинью на бок, и, крепко держа ее, скомандовал мне: «Сади нож!». Я, с дрожью во всем теле, пырнул ножом в мягкое место на шее свиньи. Она вырвалась и, окровавленная, еще бегала, а мы за ней, пока не ослабла и была прикончена. Мать и дети где-то попрятались в доме, чтобы не слышать визга несчастного животного. Потом смолили соломой.

После неудачной попытки стать движенцем я решил податься в путейцы. Для прополки путей и очистки их от сора особого ума не требовалось. И вот, в один теплый летний день 1915 года, часов в шесть утра, я появился около путейской казармы, что располагалась у начала пешеходного моста через пути. Тут же была и контора дорожного мастера. Во дворе толпились мои «конкуренты», жаждавшие, как и я, наняться на поденную работу. Они, конкуренты, были разных возрастов: от пожилых до таких же четырнадцатилетних, как я.

Артельный староста Моисей Богомаз был симпатичный, еще не старый человек. Но симпатичным он казался не всегда: когда не принимал на работу, то таким не был. Отобрав нужное количество «рабсилы», раздав нам лопаты, метелки и скребки, он вел нас к месту работы. Эшелонами с пленными, с беженцами были забиты все пути: кругом грязь, мусор. Особенно много следов в виде экскрементов оставляли пленные австрийцы. Им не разрешалось отходить далеко от вагонов, и они прямо под вагоном оставляли свою «продукцию», которую мы в их честь называли «австрияками». Нужно правду сказать, что работа по уборке «австрияков» была не из приятных, иногда и подташнивало. Мы с трудом добились, чтобы работа по уборке «австрияков» чередовалась с более благородной работой по прополке путей от травы.

На работу нанимались, в основном, эвакуированные – местным, уже обжившимся, она не была нужна, а малолетним, вроде меня, и подавно.

Со временем образовалась у нас своя артель, состоящая почти целиком из эвакуированных, о которых я вспоминаю с теплым чувством, как о друзьях-товарищах. Мы даже называли друг друга не «хлопцами», как бытовало в украинском Сновске, а «пуйками» – это один из либавских терминов.

Кто же эти товарищи? Володя Мороз, мой двоюродный брат (его отец, Михаил, был неродной брат моему отцу). Владимир был на год старше меня, жил он у тетки Лизы Лукашевич. Литовец Юзин Утыро, Феликс Сен – поляк, девочки Анна Борейко и Прохоренко Любовь, и еще имена, которых не сохранила память. Да, был еще пожилой Кривулько: физически он был здоров, но что-то от шизофреника в нем было.

Забегая вперед, я упомяну о дальнейшей их судьбе. Володя Мороз, впоследствии вышедший в отставку в чине подполковника, женат был на Мятенко Соне из Сновска, имел свой дом в Минске. Юзин Утыро ушел на пенсию с поста начальника почтовой конторы. Люба Прохоренко не совсем удачно вышла замуж за Вестфалья П., оказавшегося врагом народа – полицаем у немцев.

Очень возможно, что в 1964 году ко мне на квартиру в Гомеле приходил Кривулько Казимир и был сыном того Кривульки, с которым я имел честь убирать «австрияки». Сын этот добивался признания его моим родичем с целью устроиться в Гомеле после демобилизации, в частности, у нас на квартире. Родства мы не установили, и он отстал от меня. Он собирался поступать в милицию.

Ну, об остальных я не знаю, что с ними было.

Самыми лучшими объектами работы по прополке были пути вдали от станции. Мы садились в тени и блаженствовали, пока не раздавался крик: «Пуйки, Круль идет!». Мы вскакивали и с усердием начинали полоть траву. «А, песья! Поли, поли!» – кричал он и уходил, опираясь на палку.

«Круль» – это дорожный мастер Янковский, фигура значимая в путевой службе. Про него шел слух, что в грамоте он не силен. Толстый, краснорожий и уже седой, он, как колобок, катился по пути, постукивая палкой. Мы его побаивались, но старик он был невредный для нас.

На работу я уходил часов в шесть утра, а приходил около семи вечера. Время явки и ухода строго не регламентировалось, и все зависело от глазомера Богомаза, который по солнцу определял время начала и конца работы.

Вообще же рабочий день тянулся долго. Лишь по воскресеньям я мог вдоволь накупаться, бегая по несколько раз на «перекоп», до которого нужно было добираться по колено в грязи. Много поиграть в лапту, в чижики и прочие веселые игры. Иной раз так набегаясь, что с трудом разденешься и моментально засыпаешь. А утром мать: «Вставай, сынок, пора на работу».

Нужно ли говорить, с каким нетерпением я ждал своей первой полочки, и когда расписался у артельщика в получении что-то около семи рублей (из них одна золотая монетка в пять рублей), то я, как на крыльях, летел домой. Шутка сказать – первая заработная плата в жизни! Платили нам, подросткам, по 35 копеек в день. Таким как Кривулька – по 50 копеек. Но и 35 копеек в 1915 году еще имели цену. Один фунт хлеба стоил три копейки, и, стало быть, я зарабатывал сразу на десять фунтов хлеба в день. Да и остальные продукты были относительно дешевы.

Зимой чистили пути от снега. Я уже среди поденщиков был старожилом, зарекомендовал себя неплохим работником и слыл вполне грамотным мальчишкой. Друзьям моим было известно о моей неудаче с поступлением в службу движения.

В начале 1916 года в контору пути потребовался мальчик в помощь рассыльному. Дело в том, что рассыльный Гвоздик Алексей Гаврилович был калека, без одной ноги. В конторе он и состарился, и ему уже трудно стало справляться со своими обязанностями. Он был и сторож, и рассыльный, и чуть ли не лакей у начальника участка пути Мартынова П.Н.

Большую половину казенного дома, состоявшую из нескольких комнат, занимал Мартынов, в меньшей части расположилась контора участка пути. В маленькой комнатке при конторе жил одинокий Гвоздик. На границе между комнатами начальника и конторой был кабинет Мартынова. Отопление и уборка всех апартаментов Мартынова лежала на Гвоздике.

С моим приходом уборка конторы была доверена мне, а в комнаты начальника Гвоздик меня не допускал, и если я из любопытства пытался сунуть туда нос, то встречал шипение и отпор моим поползновениям. Вообще же Гвоздик имел тип старинного «без места преданного» слуги и чуть ли не преклонялся перед особой Мартынова.

Мартынов Патрикий Николаевич был мужчина видный, высокого роста, с густой черной бородой, и один его начальственный вид внушал почтение к его особе. К тому же он был единственный на всю округу инженер путей сообщения, что в те времена звучало гордо. Был в Сновске начальник депо Груздев, но он был только ученым мастером, и до звания инженера ему было далеко. Под стать ему была его жена – женщина крупных габаритов с чрезмерно развитой грудью, несколько даже портившей ее фигуру. Она была генеральская дочь.

В общем, это была чета настоящих панов, одним своим видом внушающих робость и почтение. Детей у них не было. При доме большой сад, оранжереи, конюшни с лошадьми, за которыми ухаживал конюх. На кухне повариха, в комнатах горничная.

Запомнился такой незначительный случай. Водопроводчик Лабуш исправлял течь в яме коллектора, я ему помогал. Подошел Мартынов, мы поздоровались с ним, но он никак не реагировал на наше приветствие, будто и не было нас! Посмотрел и ушел. Такой порядок общения с простым народом был тогда в моде...

Время работы в конторе регламентировалось более определенно, чем на пути у артельного Богомаза. У меня появилось больше свободного времени, чем в бытность на путевых работах. Да и работа была легче и разнообразнее, чем отупляющая возня в путевых нечистотах. Я по утрам быстро справлялся с уборкой комнат, потом бегал с поручениями и пакетами по местечку и ухитрялся подносить вещи и чемоданы приезжим буржуйчикам.

Был такой сорт людей – в основном это были преуспевающие коммерсанты-евреи, которые любили прибыть к своим родным с «шиком». Выходит из вагона этакий толстый верзила, в руках у него небольшой чемоданчик или авоська. К нему подсказывают сразу несколько мальчишек с предложением своих услуг. Он может свободно нести не только свой багаж, но и носильщика в придачу, но он презрительно кривит губы и сует мальчишке свой чемодан. Идет несколько впереди и на морде – блаженство. На пороге его радостно встречают: «Ай, Абрам, приехал!». Он достает кошелек и демонстративно вручает носильщику 10 или 15 копеек, чем приводит в восхищение встречающих.

Я их презирал, этих упитанных торгашей, и, скрепя сердце, потворствовал их дешевому гонору. Соблазн легкого заработка был так велик, что я не мог с ним бороться. Эти мои «носильщицкие» деньги шли на покупку книг и журналов. Моя любовь к книгам после Либавы не пропала.

Меня зачислили в штат конторы 5-го отдела пути. Руководил конторой Стадниченко Иван Иванович. Несмотря на свою украинскую фамилию внешне он ее мало оправдывал. Выше среднего роста, худой, рыжеватый, уже начавший лысеть – он, конечно, ничем не походил на хохла типа Тараса Бульбы, скорее на дьячка, ухаживающего за Солохой. Был он верноподданным, имел звание почетного гражданина, что давалось при царизме не каждому. Жена его из рода Чиль была молодой миловидной женщиной. Жили они с двумя детьми в казенном доме рядом с конторой.

Делопроизводитель Утыро Витольд Абрамович, брат Юзина, с которым я работал на поденных работах, сидел в отдельной комнате.

В отдельной комнате помещались: кладовщик Сирота Кузьма Иванович и приходно-расходник Барановский Василий Федорович. Сюда посадили и меня.

Сирота К.И. – старый холостяк, человек неплохой. Он не раз одалживал мне по просьбе моей матери деньги, как, впрочем, и многим, кто к нему обращался. В смысле одалживания денег Кузьма Иванович чем-то напоминал Баха Федора Ивановича, большого оригинала, тоже холостяка. О Бахе рассказывали, что он, давая деньги в долг, записывал у себя в книжечке

срок отдачи. Расписок не брал. Если ему не отдавали в срок, то, вычеркнув фамилию неплательщика, он делал пометку – жулик, и денег от него уже не брал, но и не одалживал больше. Кузьма Иванович отдачи денег добивался, но потерявшим доверие больше не одалживал.

Моим непосредственным начальником был К.И. Сирота, хотя Барановский В.Ф. склонен был считать. Что я подчинен в первую очередь ему, а не Кузьме Ивановичу. Когда я не бегал куда-нибудь, то сидел напротив Барановского, уже пожилого чернявого, веселого мужчины, любителя выпить и поговорить на скабрзные темы, и переписывал бумаги или печатал на гектографе разные инструкции.

Я не был конторщиком в полном смысле этого слова. Я был тем универсальным «Александром» (так обращались ко мне все), который выполнял любые поручения и шел, куда пошлют. Когда начали прибывать из Америки рельсы, я бегал к составам, переписывал марки, считал рельсы. Запомнилась марка «Иллинойс». Подсчитывал штабеля шпал, а на станционных путях Сновска – шпалы уложенные, подлежащие замене. В кладовой разгружал грузы, прибывшие на склад, сортировал, подсчитывал болты, накладки, подкладки. Наводил порядок во дворе и тому подобное.

Помню, в один из дней разнеслась весть о проезде через Сновск царя Николая II. С территории станции убрали всех лишних. По обе стороны станционных путей через небольшие расстояния расставили солдат спиной к поезду. В числе зевак, желающих увидеть царя, был и я. Нас отгоняли от путей, но нам удалось спрятаться в районе бани. Отсюда, из-за штабелей шпал, были видны пути, по которым должен был следовать поезд. Вот, кажется, в сторону Гомеля прошел один состав из пульмановских вагонов, за ним другой. Потом третий. Окна завешены, людей не видно. В каком ехал царь – тайна. Картины, которую рисовало наше наивное воображение, не получилось: царь из окна не выглядывал и не улыбался. Да, верно, ему уже в то время было не до улыбок и не до общения с верноподданными.

В 1916 году наше семейство пополнилось новым членом – Николаем. Семья прибавлялась, а условия жизни ухудшались. Какое-то брожение чувствовалось даже в мещанском Сновске. Потихоньку обесценивались деньги, росла дороговизна, пропала звонкая монета. Мелочь заменили почтовые марки с изображением царей. Они имели хождение наравне с монетой.

Не помню, когда и откуда у меня появился конек. Настоящий блестящий, металлический, на правую ногу. Как только река Сновь покрывалась еще не совсем окрепшим льдом, мы, мальчишки, уже толпились у берега. Лед подозрительно потрескивал, но это не мешало самым смелым положить начало катанию. Катались по Гвоздиковскому заливу в сторону с. Носовки. Я устойчиво стоял на правой ноге, а левой отталкивался, и до того наловчился, что, пользуясь своим прыгающим способом, ненамного отставал от настоящих бегунов на двух коньках. Уже много позже у меня появилось два конька, и я научился весьма посредственно кататься.

Весной любил я поиграть у реки между кустами и деревьями, и часто попадал в воду до пояса. Мокрый и продрогший, дома старался не попадать матери на глаза и что-то врал, когда попадался. Но она быстро добиралась до сути дела, сушила и согревала блудного сына. Иногда и попадало.

Вскоре определился круг друзей из соседних домов по Старопочтовой улице. Вот наиболее близкие из них, дружба с которыми не прекращалась до моего ухода в армию.

Это Аркадий Федорович Мышастый – паренек небольшого роста, но плотный и силач. Саня Ковальков – красивый кареглазый мальчик, правда, с глазами несколько на выкате, «луноглазый». Особой силой не отличался. Третий – Павел Константинович Вестфаль, мальчишка задиристый и забияка. Павка был физически сильный, и благодаря этому его превосходству мы часто уступали его капризам. Четвертый был я. По годам – на год старше каждого из них.

Эта четверка несколько лет была неразлучна в играх и разных проделках. Бегали купаться на «перекоп». По утрам в воскресные дни вставали часа в 3–4 ночи и, ползав по соседским садам и набив корзины фруктами, шли в «казенный лес» за грибами. Лучшим грибником был

Павка Вестфаль. Он, как гончая, носился по лесу и грибов набирал больше всех. Играли в карты, в «воза». Иногда сидели допоздна – тянули «возы». На улице играли в разные игры, боролись, выжимали тяжелые камни, что развивало физическую силу.

Шалости наши часто граничили с хулиганством. Помню, раз на нашей улице в дом, что рядом с домом Руковича, где жили евреи, мы запустили камни из рогатки, и, когда послышался звон разбитых стекол в веранде, бросились бежать. Или, собравшись темным вечером, вырывали лавочки у домов и вешали их на ворота или калитку хозяина. Зла на хозяев мы не имели, и все это делалось от избытка сил и удали, которую не было кому направить по нужному пути. А такие дела, как налет на базарную площадь, где мы вечером перетаскивали рундуки торговцев с места на место, были уже явным хулиганством.

Залезть в чужой сад не считалось особым грехом. Запомнился случай, когда мы перед походом за грибами решили «посетить» сад Шпаковича в конце нашей улицы. Примкнул к нам и ученик Гомельского техникума Санчик Коржов. Он был несколько старше нас. Старик Шпакович в эту ночь сидел на одной из вишен, и когда мы стали подбирать яблоки, он скатился с вишни и с колом погнался за самым рослым, за Санчиком. Мы, как мыши, кинулись к лазейкам в заборе, которых, как на грех, оказалось немного. Я впопыхах зацепился новыми штанами за гвоздь, но высочил. Не помню, огрел ли колом Шпакович Санчика, но мне этот случай запомнился надолго.

Среди нашей четверки я был самый старший, несмотря на это свое старшинство я был тихоня и на всякие нехорошие дела шел, скрепя сердце, боясь выказать трусость. Заводилой и инициатором на злые поступки был Павка Вестфаль. Недаром в последствии он стал полицаем у фашистов.

Среди своих друзей я был самым бывалым, а их кругозор ограничивался Сновском. Я им рассказывал о Либаве, о Балтийском море, заграничных судах и даже привирал о своих, якобы, путешествиях в заграничные порты в качестве юнги. Не знаю, верили ли они мне, но в мою любовь к путешествиям поверили. А меня и правда тянуло куда-то поехать, увидеть что-то новое.

Поэтому, когда я предложил свой план – на лодке поплыть вниз по реке Сновь до слияния ее с Десной, то он был принят единогласно. В те времена река Сновь была красавицей в полном смысле этого слова. По ее обеим берегам росли деревья, ветви которых купались в воде, и река плавно текла среди зеленых стен. Реку мы знали до села Займища, а тут предстояло увидеть, какая она дальше, как впадает в Десну. Я составил что-то вроде сметы. Каждый из нас должен был что-то готовить: то ли деньги, то ли нескоропортящиеся продукты. Лодку планировалось нанять у одного из машинистов водокачки – у Тышко или Орловского, дававших их напрокат за плату. Расстояние до слияния с Десной было километров 50. В селе Займище была водяная мельница, там нужно было перетаскивать лодку волоком. Предстояли и ночевки на берегу. Спорили о графике ночных дежурств, о порядке работы на веслах и о многом другом.

К сожалению, план этот остался неосуществленным. Неудачи наших войск на войне, дороговизна жизни, назревание каких-то событий поставили перед нами новые задачи, стало не до путешествий.

Мы продолжали дружить, но с каждым днем чувствовали себя все взрослее, наши поступки становились все осмысленнее, и мы уже не позволяли себе совершать многое из того, что еще недавно считалось у нас невинной забавой.

Забегая вперед, скажу, как сложилась судьба троих из нашей четверки. Саня Ковальков после института женился на Черняк, у них ребенок, работал Саня в Ленинграде, в блокаду умер, похоронен на Пискаревском кладбище. Аркаша Мышастый после армии женился на Жене Минник, у них дети. Аркадий работал помощником машиниста. У него что-то с глазами, носит черные очки. А вот заводила Павка Вестфаль оправдал свою немецкую фамилию – служил полицаем у немцев, и после войны был сослан в Сибирь.

В конце 1916 года я выгружал из вагона в кладовую свинцовые чушки и надорвался. В левом паху появилась грыжа. С течением времени эта неприятная болезнь развивалась, потому что физическую работу я продолжал выполнять, и вскоре дошло до того, что, идя на обед или с обеда, я по несколько раз приседал на лавочки нашей улицы. Обратился в приемный покой, где первую скрипку в лечении больных играли два известных сновских фельдшера: украинец Серпиченко и поляк Селицкий. Оба они были любители выпить, не чурались получать мзду за врачевание натурой. Но славились как мастера своего дела.

Когда боли стали нестерпимыми, я обратился к Селицкому, и он убедил меня, что в мои молодые годы самое рациональное – это отказаться от ношения бандажа (а я его и не применял), а сделать операцию. Я согласился. В февральские дни 1917 года в Гомельской железнодорожной больнице мне сделали операцию. Оперировал хирург Слоичевский Иван Васильевич. Операция длилась час пятнадцать и была без наркоза. Я все время спрашивал медсестру, скоро ли будет конец, она успокаивала меня, хотя боль от этого не становилась меньше. Потом приезжал из Сновска отчим навестить меня. Вскоре сняли швы, и я уехал домой в Сновск.

И если я уезжал из Сновска как из одного из многочисленных местечек царской империи, то вернулся уже в Сновск революционный. А как проходил сам процесс, я не знаю. В больнице было спокойно.

Может быть от того, что хирург Слоичевский немного волновался в связи с революцией и не все точно проделал с моей грыжей, но после операции у меня что-то оказалось несимметричным, мне казалось, что хирург не все приладил, как нужно. Мне казалось, что все это должно было бросаться в глаза другим. У меня появился ложный стыд, и я стал избегать мыться в бане. Что потом удивляло моих близких.

После операции, да и революция тому помогла, меня уже не загружали тяжелыми физическими работами, и функции мои стали соответствовать должности конторщика. После революции (особенно октябрьской) авторитет рабочего в жизни общества стал главенствующим, в то время как служащим отводилась роль второго сорта.

После революции жизнь в Сновске заметно оживилась. Появились новые запросы и в культурной жизни. Хождение молодежи вокруг церкви – места свиданий, уступило место более массовому развлечению людей разных возрастов. Около кино, называемого тогда «Иллюзион», ходили толпами взад-вперед, лузгали семечки, что было тогда очень модно. У некоторых любителей этого вида спорта шелуха чуть ли не висела на губах.

«Иллюзион» был около железнодорожного депо вблизи торгового центра Сновска – вытянувшихся в ряд еврейских лавочек. Мы, хлопцы, старались бесплатно попасть в кино, но не всем это удавалось. С таким характером, как у меня, почти не удавалось. Кино начинали крутить после заполнения зала. Вошедшим ранее не терпелось, они стучали ногами, шумели. Контролер – старый еврей, на шум зала реагировал совершенно спокойно, приговаривая: «Головкой, головкой об стену». Публика гоготала и продолжала стучать еще неистовее.

Участились митинги в пожарном сарае в конце Старопочтовой улицы. На митингах выступали ораторы самых разных партий и направлений. Слова и лозунги о свободе, равенстве и братстве не сходили с повестки дня. Устраивались митинги и в депо. На паровоз взбирался оратор и выступал со своей программой. Говорил убедительно, и масса, вроде, сочувствовала и соглашалась с ним, но когда после него выступал более красноречивый и приводил доводы прямо противоположные первому, то и этот был прав! Трудно было разобраться тогда в том, кто прав, а кто нет. А в мои 16 лет, да еще в окружении людей, политические взгляды которых были самые разные, и того труднее!

В конторе участка пути, этом путевском штабе, главенствовало, по началу, старое начальство. А оно не особенно приветливо встретило революцию. Начальник участка Мартынов, например, не постеснялся и спустил с крыльца сторожа Минченко: тот добивался каких-то

благ, подаренных ему революцией, а верзила-начальник взял его, малорослого, одной рукой за шиворот, другой пониже и одним махом разрешил конфликт.

Главный над конторскими служащими Стадниченко Иван Иванович тоже был не в восторге от происходивших перемен. Молодые техники Ковалев Николай Александрович и Глуценко Сергей Васильевич, недавно появившиеся в конторе, после учебы интересовались более женским полом, нежели политикой. Недаром же в контору приходил старый еврей с женой и умолял Ковалькова не ухаживать за их молоденькой дочкой Соней. «Она еще дитя, она еще в постели сс-тся», – убеждали старики. Долго потом конторские подтрунивали над Николаем.

Такие служащие как Сирота К.И., Барановский В.Ф. и Утыро В.А. были исполнительны по службе и в политику не вдавались. А дочери зажиточных родителей, такие как Булденко Анастасия, Плющ Ефросинья и Николаенко Наталья, мечтали больше о замужестве, были послушными начальству и предпочитали мещанское благополучие беспокойной новой жизни.

Неудивительно, что я, попав в такое окружение беспартийных служащих, тоже недалеко ушел от них в политическом развитии.

Да, говорили тогда много. Помню, раз в пожарном сарае происходило голосование по спискам. Раздавали листки – списки кандидатов. Были фамилии под номерами с 1 по 15. Мои родные, кажется, голосовали за номер два, самый модный тогда. Я еще не участвовал в голосовании – был несовершеннолетним.

Обычно после собраний, митингов и прочего устраивались танцы или концерты. В моде была декламация. Читали стихи Апухтина «Сумасшедший», Мережковского «Сакья-Муни», а также «Белое покрывало», «Буревестник» Горького. Около переходного моста выступали приезжие гипнотизеры. Усыпляли наиболее впечатлительных особ женского пола. Были и лекции на разные темы. Веру в Бога поколебали, и я уже не пошел в церковь исповедоваться.

В один из теплых дней 1917 года к перрону станции Сновская на первый путь подкатил состав из классных вагонов. Поезд шел в сторону Бахмача. Еще до приезда стало известно, что едет Керенский А.Ф., и я, как неопределяемый свидетель всякого рода событий, вертелся на перроне. Пути были забиты составами, набитыми разным людом, среди которого были и мешочники, и дезертиры. И любопытных сновчан собралось немало. Сидели на деревьях, наиболее настырные взобрались на крышу вокзала. Вот прибыл поезд. К тамбуру одного из вагонов подошла делегация от местной интеллигенции, возглавляемая старым бородатым врачом Полторацким. Я нырнул под вагон и вылез на буфера между вагонами. Мимо, по откинутой межвагонной площадке, прошел Керенский в своем неизменном френче с карманами, за ним – свита. Характерный ежик, измятое лицо, вид усталый. Не сходя с площадки тамбура, он нагибается, пожимает руки Полторацкому и сопровождающим его членам делегации. Потом – речь. Вскоре поезд отправился, он шел, по-видимому, в Киев через Бахмач. Меня удивила доступность к особе такой личности. Как-никак, если он в то время, может быть, и не был главой временного правительства, то занимал в нем видный пост.

Недалеко от нашей квартиры на Старопочтовой улице жили семьи Колбаско и Табельчука. Высокое крыльцо в доме машиниста Колбаско у нас, хлопцев, называлось «индейским». Почему индейским? Потому что как хозяйева дома, так и вся ватага полуголых, до красноты загорелых мальчишек очень походили на краснокожих Дикого запада, описанных Майн-Ридом. «Хлопцы, пошли на индейское крыльцо!» – такой клич часто раздавался на Старопочтовой, когда была необходимость в сборе.

Однажды (не помню даты) я узнал, что на квартиру Колбаско должен прийти Щорс. Вот он поднялся на крыльцо, вошел в комнату. Память не сохранила подробностей этой встречи, но помню, что Щорс Н.А. показался мне очень высоким. Быть может, он казался таким среди низкорослого семейства Колбаско. Запомнились слишком блестящие его глаза и его борода. Помнится, что был он тогда худой, голос – приятный баритон.

Да, очень беспокойное и богатое впечатлениями время! 1917–1918 годы, меняются разные власти, тут и там гайдамаки и петлюровцы, и вояки гетмана Скоропадского под защитой оккупантов-немцев.

Ковальковы просят спрятать у нас китель подпоручика Ильина Федора, их зятя. Моя мать согласилась, хотя не без опаски. Отчим, возможно, не знал. У нас безопасно, ведь мы же семья пролетарская.

Утро. Я прибежал к реке на «перекоп» купаться. Где-то на лугах в сторону с. Носовки видна толпа, слышно крики, шум. Это самосудом расправляются с конокрадом. Явление довольно обычное в те годы.

Шло время. Уходили красные, приходили разные «самостихийники» с оселдцами на бритой голове, одетые в пестрые наряды, а потом и немцы. И Сновск на несколько месяцев был оккупирован этими новыми властителями.

Ко времени прихода немцев начальника участка Мартынова уже не было на этом посту. По слухам, где-то около Менского моста он был арестован красными и очутился в московской таганской тюрьме. Жена же его осталась в Сновске, оккупированном немцами. Она, по совету и не без рекомендаций Стадниченко И.И., уговорила техника участка Глущенко Сергея Васильевича отвезти в Москву продукты своему мужу.

Время было такое, что в Москве, в «Совдепии», как выражались недруги советской власти, было трудно с продовольствием, но зато было легче в смысле одежды, а в местах, занятых немцами, наоборот: было сравнительно благополучно с продовольствием, а зато с мануфактурой плохо. Этим пользовались спекулянты, курсировавшие между Москвой и Сновском и переходившие нейтральную зону без особого труда. Сергей Глущенко от своей соседки – многоопытной спекулянтки Игнатъевой и других узнал эти пути и согласился отвезти продукты Мартынову, тем более что жена Мартынова обещала достать официальный немецкий пропуск через границу. Но немцы, верные своей аккуратности, разрешали провоз одним человеком определенного количества продуктов, и дабы перевезти их побольше, Глущенко подговорил меня ехать с ним. Я поговорил с матерью. Решили, что одежда моя настолько ветха и требует замены, и приобретение новых штанов стало задачей первейшей важности. Слухи же о спекулянтах даже мою мать убедили в безопасности такого путешествия. К тому же соблазняла перспектива побывать в таком огромном городе как Москва. А узнавать новые города, новые места я любил.

Жена Мартынова добилась пропуска, и вот мы – Сергей Глущенко и я, нагруженные продуктами в пределах дозволенного немецкими правилами на едущую в «Совдепию» душу, в начале октября 1918 года выехали из Сновска. Миновали Гомель, Могилев и прибыли на Оршу-товарную. Подошли к границе. После проверки документов и багажа толстый пограничник-немец, стоявший у начала нейтральной зоны, огороженной рядами колючей проволоки, скучающим взглядом проводил нас, и мы некоторое расстояние шли сами. Потом советский пост, проверка, и мы идем на станцию Орша-пассажирская. На вокзале сутолока, люди лежат на полу в ожидании поезда. Мы в железнодорожных фуражках. На наших железнодорожных удостоверениях немцы поставили штамп, в переводе на русский означавший, что нам разрешили переход в сторону Советской России без права обратного перехода границы.

Приехали в Москву, нашли родственников Мартынова, живших где-то недалеко от Большого театра. Глава семьи, инженер Федоров, служил в Управлении железной дороги. Жена его, брюнетка со впалой грудью, выглядела больной. Были еще какие-то лица. Квартира была большая, из нескольких комнат, обстановка хорошая. Как тогда было принято говорить – квартира была буржуйская.

Даже Сергей Глущенко заметно растерялся, присмотревшись к этикету и взаимному общению, царившему в этой семье. Как никак, он хоть и окончил Гомельское среднетехническое училище, был все же сыном сторожа депо Сновск и вырос в семье, далекой от манер выс-

шего общества. Но Сергей быстро освоился с новой обстановкой и навел свой курносый нос на нужный курс, и сносно общался с хозяевами. Неудивительно, он был постарше меня, имел среднее образование, и парень был оборотистый. Я по мере сил и способностей старался не делать и не говорить лишнего, держать себя «на уровне». Не знаю, насколько мне это удавалось, ведь я по натуре не очень разговорчив, а в ту пору развитие мое недалеко шагнуло. У этих моих временных хозяев хватало такта обращаться со мной не как с существом низшим, а как с равным, и о них у меня остались теплые воспоминания.

Я ходил по Москве, не слишком удаляясь от квартиры. Уже начало холодать. Москва мне показалась какой-то малолюдной. Правда, Сухаревка, куда я ходил с Сергеем, шумела от множества людей. На Сухаревке я купил себе штаны и какой-то вязанный свитер. И то, и другое оказалось с браком. Да, сухаревские молодчики работали ловко, и такого растяпу, как я, им ничего не стоило обмануть. 10 октября 1918 года я сфотографировался у фотографа около Охотного ряда.

Шли хлопоты об освобождении из Таганки Мартынова, и вот, однажды утром я увидел его, исхудавшего, с густой черной бородой, выходявшего из спальни. Изменился здорово! Он поздоровался со мной. Как оказалось, его освободили за недоказанностью обвинения.

Мое дальнейшее пребывание в этом доме стало излишним. Кормить 17-летнего здорового парня при нехватке продовольствия было неразумно. Аппетит у меня был, а на кухне пожить было нечем. Получив на память фотокарточку Мартынова П.Н., попрощавшись со всеми, я ушел от них, чтобы никогда уже больше не встречаться. Кое-что из мелочей они передали жене Мартынова в Сновск.

Сергей Глущенко привез меня на Брянский вокзал, где сразу же встретился и расцеловался со своей соседкой Игнатьевой и другими знакомыми сновскими спекулянтами, передав меня с рук на руки и взяв с них обязательство доставить меня в Сновск живым и невредимым, он ушел. Когда я остался один, мне стало как-то не по себе. Кроме небольших денег, покупок, которые я надел на себя, и мартыновских мелочей у меня было лишь удостоверение личности с немецким штампом, запрещающим обратный въезд в Сновск.

Я по пятам следовал за сновчанами. Сели в поезд. Важно было найти место в поезде внутри или снаружи. Что касается билетов, то эта формальность была тогда необязательна. Приехали в Брянск и двинулись дальше в сторону хутора Михайловского. Доехали до станции Зерново. Перед толпой жаждущих попасть в оккупированную Украину стоял, размахивая маузером, огромного роста комиссар-матрос. Из его немногословной речи мы, желающие перемахнуть через нейтральную зону, поняли, что если нам это и удастся, то только не в зоне, подвластной этому матросу.

Приуныли даже мои бывалые сновчане. Обо мне и говорить нечего. Посовещавшись и не дожидаясь, пока матрос осуществит свое намерение заставить нас где-то полезно поработать, мы заполнили товарный порожняк, шедший в Брянск. У моих бывалых сновчан была еще одна лазейка.

Из Брянска доехали до станции Песчаники – последней советской станции в сторону Унечи. Перед вечером вереница спекулянтов двинулась в сторону нейтральной зоны. Перешли по колено в воде неширокую, но быструю речку, и вскоре подошли к деревне. Нас окружили советские пограничники. Не знаю, были ли они действительно пограничниками или это были партизаны, но особых претензий к нашим особам они не предъявляли, документами не интересовались, а больше их волновал багаж каждого.

Один из «братишек» заинтересовался, почему я в двух штанах, и уже завел речь, что, де, одни штаны нужно снять. Его товарищ оказался более сердобольным и, определив на ощупь некачественность моих штанов, купленных на Сухаревке, отговорил своего товарища, и штаны остались на мне. А вот баночки резинового клея и еще какую-то мелочь, переданную Мартыновым жене, у меня отобрали.

Из этой деревни уже темной ночью шли пешком до города Клинцы, так и не встретив нигде немцев. На станции Клинцы залезли в товарный вагон и добрались до Сновска.

Самое странное в этом походе было то, что закоренелые спекулянты сумели пронести через зону вещи намного ценнее, чем отнятые у меня баночки с клеем.

В Сновске все рассказал, как сумел, о своем путешествии. С чувством какой-то вины рассказал об отобранном клее, может быть даже, что не поверили мне. Дома при внимательном рассмотрении купленных мною вещей нашли много дефектов в штанах и поеденные молью дырки в свитере.

Сергей Глущенко вскоре тоже вернулся в Сновск, а вот каким путем – не знаю.

Уже после моего возвращения из Красной Армии я узнал о трагической гибели С.Глущенко. в 20-е годы он лежал в вагоне на второй полке, внизу под ним сидел как-то разгильдяй-вояка с винтовкой, нечаянно выстрелил, и Сергея не стало. В те дни события настигали каждого неожиданно.

Помню, раз очутился я в квартире дома напротив вокзала, недалеко от конторы пути. Перейти пути и побежать домой помешала стрельба. Я забился под лестницу двухэтажного дома, в котором жил начальник станции Сновская. И вдруг, ужас! С винтовками наперевес в дом ринулись немцы. От страха все похолодело внутри, но немцы меня не тронули и побежали на второй этаж.

Помню, на нашей Старопочтовой улице один из хлопцев с винтовкой добежал до начала улицы и пальнул вверх в сторону пожарного сарая, после чего – галопом обратно. Около пожарного сарая невозмутимо стоял толстый немец в каске и никак не реагировал на выпад этого хлопца. Он, как видно, не принял его за достойного противника.

С приходом к власти Скоропадского и немцев участок пути, да и все службы продолжали функционировать. Стали появляться журналы, пахнущие какой-то противной краской. Служащих контор заставили учить «рідну мову», и я немало преуспел в овладении этим языком. На квартиру к нам поставили немцев. Но вели они себя в те времена культурно и не бесчинствовали.

Во второй половине 1918 года в один из зимних дней в нашей семье появился Леонид.

В начале 1919 года в один из зимних дней завязалась перестрелка. Немцы отступали в сторону станции Низковка, эшелон красных двигался со стороны Гомеля к станции Сновская. Пулеметные очереди полоснули по некоторым постройкам Черниговской улицы. На переходном мосту через пути в железной балке появилась дырка от снаряда. Около магазина убили еврейку Злату и еще кого-то.

Вся наша семья, забрав что поценнее и закрыв квартиру на замок, побрела в село Турью в 7 километрах от Сновска. В Турье, примечательной, между прочим, тем, что была заселена в своем большинстве жителями с фамилией Мороз, мы прожили несколько дней, пока в Сновске не установилась советская власть. Первыми вернулись отчим – в депо и я – в контору пути. Потом появились остальные.

Началось освобождение Украины. Семья наша уже составляла девять душ. Положение с продовольствием усложнялось. Да и не только с продовольствием – не было мануфактуры, обуви. Ходили на модных тогда деревяхках. Зарплата, получаемая отчимом и мной, почти не имела никакого значения. Фактически мать держала семью. Она покупала на бойне всевозможные внутренности – «вонторбы»: легкие, печенку, сердце и прочее; все это варила, кормила нас и носила к поездкам продавать. Поезда были многолюдные, покупатели расхватывали товар, частенько ворую у матери ее нехитрые изделия.

На освобожденную Украину потянулись за хлебом массы людей. Среди них много спекулянтов – людей, сделавших наживу за счет чужого горя своей профессией. Поезда ехали перегруженные: ехали люди на крышах, меж вагонов, даже под вагонами, где только можно примоститься.

На крупных пунктах, таких как Ромны, Бахмач создали «заградиловки», в задачу которых входила борьба со спекуляцией. Но не все благополучно было в этих органах, и часто крупные спекулянты благополучно обходили эти заграждения, а бедняки лишались своего с трудом выменyanного хлеба или соли и являлись к семье с чувством злобы на всех и вся.

Поезда из-за нехватки топлива становились в пути, пассажиры выходили, пилили дрова и поезд шел дальше. Путь был разболтан, было много крушений. Помню крупное крушение около переезда Бурачихи в Сновске, когда поезд наскочил на встречный. Около «соколки» под Гомелем на боку лежали паровозы. На одном из них убит машинист Якубайтис.

Не помню точной даты, но запомнилась поездка в Тихоновичи по узкоколейной железной дороге. Путь был до того разболтан, что беспрерывно платформы сходили с рельс, и мы на ходу соскакивали, рискуя получить увечья.

Отчима, как рабочего депо, и, вероятно, учитывая его причастие к забастовке 1905 года и усердную работу по ремонту паровозов, направили на работу в Бахмач в ЧОН – часть особого назначения, так называлась одна из отраслей ЧК. Не знаю, было ли это делом добровольным, или он был на это мобилизован, но он, как видно, был не прочь «отдохнуть» от забот о своем большом семействе, и, сидя в Бахмаче на новом поприще, нечасто интересовался семьей. Впрочем, тенденция быть подальше от семьи наблюдалась за ним и в 30-е годы, когда он тоже рвался подальше от дома в Спас-Деменск. Не знаю, что он полезного сделал в Бахмаче, будучи в ЧК, но вскоре вернулся в Сновское депо.

Мать редко ездила на Украину. Запомнился случай, когда она и я сошли на станции Глобино, не доезжая Кременчуга. На станции с большой жадой и жадностью мы распили по глечiku (прим. – кувшин) настоящего холодного, кипяченого молока и пошли вправо от пути. Жара, людей почти нет. Мы идем посреди улицы. В руках у нас товар для обмена: сковородки, вилы, еще какие-то хозяйственные мелочи. Деньгами «хохлы» не интересуются. У толстого дядьки, по комплекции схожего с Гоголевским Пацюком, глотавшим вареники, который сидел на лавочке в теньке около хаты и дремал, мы и совершили обмен. Обрато шли радостные с пудом муки у каждого за плечами и еще кой-какой мелочью в руках.

Теперь была задача все это доставить в Сновск – впереди «заградиловки» в Ромнах и наиболее страшная в Бахмаче. Но, к счастью, Ромны проследовали благополучно – был какой-то шум и крики на перроне, но из вагона нас не выгнали, и мы уехали в Бахмач. В Бахмаче была стрельба на перроне, в вагон к нам залезли несколько человек из «заградиловки», кое-кого высадили. Мать очень испугалась, когда один из заградиловцев то ли в шутку, то ли всерьез спросил: «А что, мать, соли много везешь под юбкой?». «Да нет, товарищ, нет», – пролепетала она бледная, и вздохнула, когда он оставил ее в покое. А ведь у матери было фунта три соли подвешено под юбкой! Просто не верится, как тогда дорого ценился этот немудреный продукт – соль. Но мать ездила за хлебом очень редко, я чаще.

Помнится, очень нас потешал маленький Сашка Никитин. Он был так мал, что свободно помещался в футляре большого фонаря впереди поезда. Но, как говорят: «мал золотник, да дорог», – поездки его за хлебом всегда были успешными. Впоследствии он стал видной личностью – занимал пост начальника Могилевского отделения Белорусской железной дороги. Подрос он мало, но зато раздался вширь. По-видимому, его малый рост немало досаждал ему – обычно большие начальники бывают солидными, рослыми, с комплекцией, внушающей уважение.

Поездки были нелегкими. Когда в вагонах и на крышах уже не находилось места, то мы осаждали тендер паровоза и его левое крыло (правое – машиниста, всегда было свободно), или переднюю его часть. Конечно, зимой наиболее желательным было левое крыло, было приятно от тепла, исходявшего от котла. А вот ехать на тендере зимой, когда с трубы паровоза летят многочисленные искры, попадают тебе на одежду и в глаза – не пожелаю врагу своему!

Однажды, укрепившись ногами на задней площадке тендера, я одной рукой за что-то держался, а другой отмахивался и гасил искры на пиджаке. Мой пиджак на вате местами начинает загораться, и уже одной рукой не отбиться от искр. Кое-как укрепляюсь ногами на площадке и работаю двумя руками, но чувствую, что силы иссякают – загораюсь. Лезу на верхушку тендера и скатываюсь к топке. Видно, слишком мученический вид я имел, если даже суровый кочегар, которому и без меня много было мешающих работать, смилостивился и не погнал меня наверх тендера. Да, только молодость могла противостоять таким «комфортабельным» поездкам.

В одну из поездок в Кременчуг я привез, кроме соли, тиф. Тиф был возвратный и отличался своим коварством от других видов тифа. Когда после первого приступа с высокой температурой и кризиса наступило облегчение, и я вышел на крыльцо на свежий воздух, то на следующий день начался второй приступ, поваливший меня в постель до очередного кризиса. Таких приступов было четыре, и они немало подорвали мое здоровье.

Домашние условия гигиены у нас были не ахти какие. Скученность, нехватка белья и прочего создавали условия для размножения разных паразитов. Давили клопов, убивали вшей и быстриногих блох.

Мать была занята своей «коммерцией» с требухой у поездов, и ее основной задачей было прокормить наше немалое семейство, обладавшее завидным аппетитом. Конечно же, у нее не было ни сил, ни времени содержать дом в нужной чистоте. Эта на редкость трудолюбивая, выносливая женщина всю себя отдавала безропотно и самоотверженно на благо своих близких.

Не помню, заразил ли я тифом других членов нашей семьи, и если нет, то это было просто чудом...

В конце 1919 года я был взят на учет по всеобучу. Коснулось это дело и отчима. Мне было 18 лет, отчиму 36. Нас выстроили на площади товарного двора станции Сновская. Скомандовали рассчитаться на «первый-второй», и началось наше обучение военному делу. Для меня в мои 18 лет это было первое приобщение к военной премудрости, не считая участия в рядах «потешных», но и для отчима тоже – он на военной службе не был, возможно, как один сын в семье. Учили нас недолго, но маршировать я выучился еще до призыва в Красную Армию.

Шло время. Я рос и мужал, как и все мои друзья. На смену детским и юношеским понятиям и шалостям, когда мы, мальчишки, чуть ли не презирали женский пол в лице девочек, дергали их за косички и всячески старались обидеть их и тем показать свое мужское преимущество, пришло нечто новое, что заставило нас увидеть их другими глазами.

И уже часто я во сне стал видеть хозяйскую дочь Валию Аникееенко, а наяву старательно искать встречи с нею. Недостатки ее, которые я еще недавно подмечал, теперь не замечались мною и вскоре превратились в достоинство.

Но Валя относилась ко мне с полным безразличием. Она дружила с Лидой Заровской, жившей на квартире у Аникееенко. Между прочим, мать Лиды вела довольно темный образ жизни, не всегда соблюдала супружескую верность и т. п. Дочь Лида поневоле переняла некоторые черты своей матери и кое в чем подражала ей. Валя, Лида и их подружки любили танцы и другие развлечения. Потом они стали комсомолками...

Конечно, я со своей невзрачной фигурой и с еще незабытой репутацией путейского «подметайлы» и рассыльного ничем не мог прельщать кружок этих девиц. И Валя, и все они заметно льнули к кареглазому моему другу Сане Ковалькову, который уже учился в Гомельском среднетехническом училище. Среднетехник и конторщик – конечно же, девицам по душе было первое.

И я вскоре понял свою ошибку – первая любовь не удалась. Выкрыв у Вали ее фотокарточку, адресованную какому-то Антону, и получив от нее фотоснимок 1919 года с надписью «надоедливому другу Саше», а также ленточку с вышитыми буквами «не забудь», я нашел другой объект обожания. Через улицу, в семье поездного машиниста Ботина, мужчины маленького роста, жила их дочь Рая. Ростом она удалась в папашу. У Раи была небольшая собачка, кото-

рую звали Пупсик. Маленькая Рая со своим крохотным Пупсиком быстро намозолила глаза досужим хлопцам, и они, без особого зла, кличку собаки присвоили и ее хозяйке. Так, за Раей утвердилась кличка «пупсик».

Мое увлечение Раей было более серьезным, чем Валей. Да и она относилась ко мне не совсем безразлично. Через своего брата Ивана я передавал ей записки, получал ответы. Свидания состоялись у калитки ее дома, но и до свидания я долго простаивал на крыльце своего дома и глядел на окно Раи, которая то появлялась в окне, то уходила, чтобы через несколько минут опять маячить в окне. Так происходила наша безмолвная игра в прятки, и, видимо, Рае эта игра нравилась. А когда наступал вечер, я неизменно оказывался на лавочке у дома, где жила Рая. Однажды мы сидели рядом, и я в порыве нежности взял ее руку и поцеловал. Это был чуть не подвиг с моей стороны – до того я был не смел с женским полом. Позднее я осмелился до того, что однажды зашел на квартиру к Ботиным и был приветливо встречен Раиной мамашей, но это посещение было единственным. Потом, когда Рая стала учиться в Гомельской гимназии и наезжать в Сновск только по воскресеньям, наши свидания стали редкими, и их, отчасти, заменила переписка. Я с нетерпением ждал от нее ответа на свои письма, а получив ответ, по многу раз его перечитывал.

Рая научила меня смотреть на небо, познакомила с главнейшими созвездиями и звездами, с учебником Фламариона по астрономии. А однажды она привезла из Гомеля стихотворение С.Есенина «Я часто думаю, за что его казнили». Это был стихотворный ответ Есенина Демьяну Бедному на его «Евангелие без изъяна евангелиста Демьяна», которое печаталось в газете «Беднота». Естественно, ответного стихотворения Есенина в газетах не печатали, и в среде учащейся молодежи он ходил как нелегальный, писанный от руки. Стихи эти я знал наизусть.

В 1919 году подарила мне Рая свою фотокарточку с нежным заголовком на обороте «Шурочке».

Шло время. У Раи появились новые поклонники, такие, как Соколов, Круковский, Юльян, с которыми я не мог соперничать ни по развитию, ни по внешнему виду. Наша разобщенность, а также и появление у Раи новых поклонников привели к тому, что ко времени мобилизации меня в Красную Армию мое увлечение заметно остыло, и зачатки любви перешли в дружбу.

Помню, как в один жаркий день 1920 года мать обнаружила пропажу своего 4-х летнего сыночка Коли. Мы забегали по ближайшим дворам нашей улицы, а потом и по другим улицам. Спрашивали у встречных, давали описание этого беглеца, вся одежда которого состояла из длинной рубашки, доходящей чуть не до земли. И, наконец, нашли... В селе Носовка, что в двух километрах от Сновска. Он спокойно продолжал бы свой путь и далее, но мы его догнали и прервали это безмятежное путешествие.

После Мартынова П.Н. начальником участка пути стал Станкевич В. Он старый холостяк, любит ругаться, причем его крепкие выражения доходят до слуха конторских барышень, которые терпеливо мирятся с этим чудачеством нового начальника. Впрочем, не все. Счетовод Наташа Николаенко однажды осадила его, заставив извиниться и за выпущенный мат, и за «тыканье». Станкевич даже несколько опешил, получив отпор, но потом весело захохотал и извинился. Он любил выпивать, и было в нем что-то солдафонское, хоть был он из старых инженеров.

Сначала помощником начальника, а потом и временным начальником был недавно присланный молодой инженер Павел Петрович Лихушин. Молодой человек, блондин с вьющимися волосами и небольшими светлыми усиками держался скромно, в нем чувствовался интеллигентный человек. Из политсостава запомнился мне толстенный блондин Борейша с постоянной улыбкой на лице и черноволосый высокий Вася Лобанок.

Середина 1920 года. Я по-прежнему конторщик 5-го участка пути. Идет война с белополяками. На доске около дежурного по станции появились печатные сводки о положении на фронте. Станция всегда забита эшелонами. Люди едут на крышах, на буферах, где только можно прилепиться. Беспризорные пристраиваются в таких местах, что диву даешься, как они не гибнут по ходу поезда. Комиссар Горбач, охрипший от крика, стаскивает с крыш вагонов мешочников.

Конторой заправлял по-прежнему И.И. Стадниченко. Он искусно лавировал, принаравливаясь к новым властям и новым начальникам. Был в большой дружбе с государственным контролером Михеевым М., сохранившим этот титул и при советской власти. Этот Михеев был оригинальной фигурой. Брюнет с вечно включенными волосами, глаза навывкате, сам толстенный, коротконогий, в сапогах гармошкой, со свисающими на них широкими шароварами, с большим портфелем подмышкой – он был похож на Колобка, и одним своим видом вызывал улыбку у встречающих.

Мне частенько приходилось носить ему бумаги на квартиру в конце Песочной улицы. Дверь мне открывала миловидная женщина-блондинка. Когда я приходил рано и «барин еще не встал», я дожидался в передней. Блондинка эта, как рассказывали, была австриячка и жила у Михеева как экономка. Невольно я думал: «Надо же, такая симпатичная женщина и живет с таким уродом». Наверно, горе заставило ее пойти на такое.

Был у нас в конторе теплый ватерклозет (как теперь называют санузел), и Михеев частенько чуть ли не ежедневно заглядывал к нам, чтобы пользоваться им. Бросит портфель на столе Ивана Ивановича, возьмет книгу, газету и сидит там. Конторские бегают – занято. И когда узнают, что сидит Михеев, то бегут на станцию, благо, она недалеко. А Михеев, начитавшись вдоволь, забирает свой портфель и уходит, не заикнувшись хотя бы для приличия о цели своего посещения.

Иногда Михаил Васильевич – так, кажется, звали Михеева, в чем-то не соглашался с Иваном Ивановичем, но тот всегда его умел убедить, и штамп «проверено» ставился на спорную бумагу. У Михеева была печатка-факсимиле его подписи «Михеев», и он редко сам подписывал свою фамилию, почти всегда используя штамп.

Девицы: Наташа Николаенко, Плющ Проня, Буледенко Анастасия (Туся), и мужчины: Витольд Абрамович Утыро – холостяк, Сирота Кузьма Иванович – старый холостяк, Василий Федорович Барановский – это основные работники конторы, ну и я среди них.

В техническом отделе: Николай Александрович Ковальков – старший брат моего друга Сани, покоритель женских сердец, Сергей Васильевич Глуценко – курносый, по кличке друзей – «курский соловей», и Приходько Данила – долговязый парень с кучерявой черной шевелюрой. Это «среднетехники». Они после работы волочатся за бывшими гимназистками и за молоденькими евреечками. Коля Ковальков прихлестывает за племянницей начальника депо Грузова – Верой. Позднее я узнал, что он на ней женился. Всякий раз, когда я слышу арию Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст», я вспоминаю Ковалькова. Это была его любимая мелодия, и он ее часто напевал.

Нельзя не вспомнить Александра Пахомовича Савенкова, занимавшего пост смотрителя зданий. Небольшого роста, с задатками большого облысения он в техническом кругу участка почитался как хороший математик. Был немного суетлив, но скромен до предела. Его жена, учительница Ольга Ардалионовна, худощавая высокая женщина, пользовалась почетом как в своем учительском коллективе, так и среди родителей. Детей у них не было.

Как-то незаметно начала распадаться наша дружная четверка. Первым «оторвался» Саня Ковальков, поступивший в среднетехническое училище в Гомеле. И когда мы в феврале 1920 года решили сфотографироваться все вместе, то осуществили это без Сани – он был в Гомеле. Впрочем, он особенно не стремился к этому, и мы решили, что он зазнался. В 1920 году, когда мне было около 19 лет, а им по 18, дружба наша заметно пошла на убыль. Саня учился, Аркадий

и Павка тоже чем-то стали заниматься. Игра в карты, в «дурака» и «воза» почти прекратилась, как равно и возня с камнями, которыми мы развивали и демонстрировали свою силу. Я уже стал членом железнодорожного союза.

В конце августа 1920 года, когда мне исполнилось 19 лет, я получил повестку от военкомата явиться в Городнянский уездный комиссариат. Меня призвали в Красную Армию. Работники конторы участка пути сочувственно отнеслись к моему призыву в армию. Организовали сбор средств в мою пользу. Деньги тогда не имели большой ценности, но дорого было само внимание. Из железнодорожников Сновского узла я был единственным 19-ти летним парнем, призываемым в Красную Армию. Не знаю, из каких соображений меня призвали, во всяком случае моих одноклассников в Сновске пока не трогали. Может быть, тут свою руку приложил профсоюз, членом которого я стал, и профсоюзники выделили меня для выполнения плана, который должен был быть выполнен. Не знаю. Но несколько позже я убедился, что да, действительно, меня призвали не совсем в соответствии с законами, действовавшими в те времена на Украине.

23-25 августа 1920 года я был в Городне. В Городнянском уездном военкомате врачебная комиссия, осмотрев меня и выслушав мое заявление о перенесенной операции, определила меня в нестроевые и дала направление в Киев. На комиссии я несколько покривил душой, сказав, что послеоперационная грыжа меня иногда беспокоит. На самом же деле я об операции давно забыл и свободно бегал, поднимал гирю в два пуда правой рукой десять раз подряд, а левой два раза. Поднимался на руках по лестнице на второй этаж, а также лазил по веревке. По-видимому, комиссия из-за перестраховки определила меня в нестроевые.

Проводы были более чем скромные. В теплый осенний день 4 сентября 1920 года я вышел из дома. На мне была гимнастерка, штаны навывпуск, на голове выдавшая виды форменная фуражка с еле державшимся козырьком. На ногах старые материны ботинки на высоких каблуках (до этого я ходил в самодельных деревянных сандалиях). Взял я с собой также какое-то подобие старой шинели – она была обрезана выше колен. В руках у меня мешок с мелочами. Меня провожает мать. У матери слезы, капают они и у меня. Мать что-то шепчет, кричит... и прощай, отчий дом, прощай, Сновск!

Начинается новый этап на жизненном пути.

1920–1924 гг. Красная Армия

В древний красавец Киев я приехал 6 сентября 1920 года.

Уже в Дарнице видишь его величие и громадность. Над Днепром высятся золотые купола Киево-Печерской лавры, виден цепной мост, лысая гора.

В Управлении формирования войск 12 Армии, сокращенно «Упраформ-12», куда я явился, меня расспросили, кто я и что я, где работал до призыва, где учился и т. п. Я рассказал о себе, о своей конторской специальности, и меня зачислили в резерв специалистов. Под жилье этим резервистам были выделены номера в огромном шестиэтажном здании гостиницы, расположенной недалеко от Крещатика на Бибиковском бульваре.

В Киеве царил какая-то настороженность. Он был недавно, в июле месяце, освобожден от белополяков, и советский дух еще не укрепился в этом огромном городе. К тому же, ко времени моего появления в Киеве наши войска, успешно продвинувшиеся чуть ли не до Варшавы, начали отступать, и положение на польском фронте обострилось и становилось угрожающим.

Поболтавшись несколько дней по Киеву и не совсем уютно себя чувствуя в прохладных комнатах, я начал тяготиться своим неопределенным положением. Сухой паек, выдаваемый авансом на будущие дни, я быстро поедал. Пакет и так был не ахти какой, много меньше аппетита, из дома мне продуктов дали только на проезд, денег мало, и потому, когда мне объявили о новом назначении в город Малин, то я был даже доволен. Правда, назначение меня в кавалерийский полк было колкой неожиданностью и немного пугало. Ведь с лошадьми я дела не имел

и наблюдал их только запряженными в городские извозчичьи экипажи. Ездить верхом не пробовал и не умел. Поэтому, когда я в Малине представился какому-то небольшому кавалерийскому командиру, то он, осмотрев мою исхудалую, невзрачную фигуру и услышав мой робкий лепет, пробормотал что-то вроде: «Ну и пополнение шлют», и уже громко спросил меня: «Ты коня видел?». Я растерянно подтвердил, что видел.

– А обращаться с ним, конечно, не умеешь?

– Нет, – отвечаю.

– Ты что ж, городской будешь?

– Да, – ответил я и коротко ознакомил его с моей биографией железнодорожного конторщика.

Он покачал головой, подумал и спросил:

– По письменной части, значит? Вот, тут у нас должна проводиться перепись населения и красноармейцев. Возьмешься за это дело?

Мне ничего не оставалось делать, как согласиться.

Меня поставили на квартиру у старого еврея с женой. Я стал разбираться в бумагах, присланных для переписи. Но, покопавшись дня три, заболел. Едучи в Малин в товарном вагоне, я простудился. Когда оправился, меня как бывшего железнодорожника направили в распоряжение 3-ей железнодорожной бригады, а оттуда в 23-й железнодорожный дивизион на станцию Ровно.

И я стал колесить по линии: Боярка, Фастов, Бердичев, Шепетовка. Эти места описаны в романе «Как закалялась сталь», где год спустя трудился на лесозаготовках Павка Корчагин. В Казантипе у меня украли ремень, когда я задремал на полу на вокзале.

Комендант в Шепетовке информировал, что в Ровно идут бои, и ехать туда нельзя. Находящийся в сторону Ровно поезд меня не пустили. По сведениям коменданта, 23-й железнодорожный дивизион находится где-то в районе Коростеня. Я покатил в Коростень. Минували Новгород-Волынский, расположенный вдали от вокзала. Видна река Случь, протекающая около города. И вот, Коростень, забитый эшелонами. На вокзале, битком набитом людьми, не протолкнуться. У дежурного узнаю, что состав 23-го желдива где-то на путях. Пролезаю под вагонами и нахожу состав с классным вагоном. Это штабной вагон. Представляюсь черноволосому, высокому, с военной выправкой делопроизводителю по строевой части Гоняеву.

Я назначаюсь с 20 сентября 1920 года конторщиком службы тяги, иду в товарный вагон тягловиков. Нар нет, располагаюсь прямо на полу, подстлав свою знаменитую полушинель. В вагоне меня встретила жена одного из машинистов, Солдатова, что меня крайне удивило – воинская часть и вдруг женщина! Покажется странным, что некоторые военные железнодорожники (особенно комсостав) были в армии с семьей, но тогда все было в стадии становления, и даже точных сроков службы не было. Я, например, был в армии три года и семь месяцев.

Шла война с белополяками и Врангелем. Подходили к концу три года гражданской войны, а когда она закончится – было неизвестно. Человеческая природа диктовала свои законы, и люди, как умели, устраивали вою личную жизнь, и несмотря на формальный запрет, кое-как пристраивали в частях своих жен-подруг.

Железнодорожные войска в те времена играли немалую роль. Гражданская война велась в основном вдоль линии железных дорог, и войска перевозили железнодорожным транспортом, если не считать знаменитый рейд Первой конной армии С.М. Буденного. Для быстрого восстановления поврежденных железных дорог, мостов, а также эксплуатации их нужны были военно-железнодорожные части вместо разбежавшихся коренных железнодорожников. Военно-железнодорожные части были построены по общему принципу распределения функций в гражданском аппарате железных дорог. Штабы частей представляли как бы управления, участки, дистанции и делились на службы. В желдивизионе была служба тяги, движения, связи. Соответственно, были и начальники служб. Например, начальником службы тяги был неболь-

шого роста чернявый, худенький человек по фамилии Шпрингер. Были свои машинисты, кочегары, смазчики, дежурные по станции, телеграфисты и пр. Были свои паровозы. При штабе 23-го желдивизиона был могучий красавец с резким гудком, сзывающим нас перед отправлением, серии ЭХ-1427.

И когда 22 сентября 1920 года наш эшелон выбрался из забитого составами Коростеньского узла и доехал до уже знакомого мне Малина, то я издали мог наблюдать наш дивизион во всей его красе и мощи. Длинный состав из товарных вагонов, нескольких платформ, с классным пульмановским вагоном в середине состава, возглавлялся красавцем-паровозом ЭХ-1427. Под теплушкой командира дивизиона Чернозатонского – ящик для поросят, курей и прочего хозяйства.

Командир Чернозатонский Леонид Николаевич – высокий, худощавый мужчина, любивший ходить в черной кожанке, был, говорили, из старых офицеров. Он жил с женой в отдельной теплушке. Детей у них не было. В качестве денщика был у них глухонемой, подобранный где-то на прифронтовой полосе. Глухонемой обслуживал хозяйство, отапливал вагоны.

В Коростене мы простояли несколько дней, и я более детально ознакомился с этим городом, еще хранившем следы недавно прошедших военных действий. Тут проскакала 1-я конная армия С.М. Буденного. Недалеко от вокзала – мост через реку Уж, которая и вправду, как уж, извивается среди каменистых ущелий.

Я заметил поговору и повадкам, что в дивизионе преобладают русские. И эти коренные русаки никак не соглашались с моей фамилией Мороз. А упрямо называли меня Морозовым. Первое удостоверение, выданное мне как конторщику службы тяги, было на имя Морозова. Так же моя фамилия писалась и в красноармейской книжке. Лишь спустя некоторое время я восстановил свою настоящую фамилию Мороз.

Из Коростеня мы выехали в конце сентября 1920 года. Для меня началась жизнь на колесах: сегодня здесь, завтра там. В Святошино прибыли второго октября, а до этого по одному-два дня стояли чуть ли не на всех станциях между Коростенем и Святошино. Каждый день новое место. А затем до конца ноября наш эшелон гоняли по окраинам Киева: станция Святошино, пост Волынский, хутор Грушки, Монастырский тупик, Русановский мост. Все это под боком у Киева.

Конечно же, в свободное время и в дни, когда не ожидалось передвижения нашего эшелона, я бродил по Киеву. Ходил пешком, потому что ездить на трамвае не всегда удавалось – до того они были переполнены. Обмундирования мне пока не дали, кроме, кажется, гимнастерки и шинели, и я щеголял в своих ботинках на высоких каблуках. Однажды я ехал на трамвае до Святошина. Одной ногой мне удалось встать на подножку, другая свободно болталась в воздухе. Вдоль линии были натканы столбики, и один из них задела моя висячая нога. Каблук отлетел, как ножом срезанный. Мне повезло – могло ранить ногу. От остановки до эшелона я шел, прихрамывая на левую ногу. Позже я срезал второй каблук, как только раньше не сообразил сбить оба!

Пешее хождение нагоняло чудесный аппетит, а кормили неважно. И я постоянно испытывал желание поесть. Даже после обеда. Жалованье мое 2400 рублей в месяц хоть и выражалось в тысячах, но на него мало чего можно было приобрести.

Ходил по красивым гористым улицам города, на Батыеву гору, Подол. По Крещатику мимо «бессарабки» (прим. – историческая местность в Киеве – Бессарабская площадь с большим рынком) к Лукьяновской тюрьме. Был около арсенала. И, конечно же, побывал в знаменитых киевских пещерах. Монах предложил снять головные уборы. Сначала, когда толстый монах ввел нас в лабиринт и для эффекта потушил свечу, стало страшновато. Потом зажег свечу и начал пояснять и показывать ниши, где лежат или лежали мощи какого святого. Дело в том, что после взятия Киева нашими немало мощей поплыло по Днепру. Причем, как писали газеты, мощи были набиты всякой всячиной и без костей. Пещеры невысокие и узкие, через

небольшие промежутки устроены ниши с мощами. Во дворе Лавры много богомольцев, особенно женщин.

С Владимирской горки любовался видом на Подол (прим. – историческая местность в Киеве, простирается вдоль правого берега Днепра) и Днепровские дали, а потом спускался к месту крещения Руси в 988 году.

Понято, что хождение мое ускорило износ моих ботинок, недавно претерпевших серьезную травму от потери каблуков, и они не только «просили каши», но и вообще просились на отдых в утиль. И когда мне выдали новенькие лапти, то я навсегда расстался со своими, верно прослужившими мне ботинками. Можно судить, какая нехватка в обмундировании и обуви была в армии, если красноармейцев обували в лапти?

Но мы были непритязательные ребята, и когда нам дали билеты в оперный театр на оперу «Нерон», то мы, надев шинели, аккуратно обувшись в лапти и закрутив плотно обмотки, похрустев свежавыпавшим снежком, заявились в фойе театра. Местные «недобитые буржуи» (их так тогда называли) с брезгливостью глядели в нашу сторону, но мы, держась стайкой, чувствовали себя уверенно и весело поглядывали на них. Наше дело правое, а лапти – явление временное. Опера понравилась, она была первая в моей жизни в настоящем театре.

Скоро после моего появления в желдивизионе меня из вагона тягovieков перевели в другой. В этом вагоне подобралась штабные – люди городские, из разных городов, а по сему более-менее развитые. Я получил место на верхних нарах. Матраса у меня не было, спать было жестко. Я решил приобрести какую-нибудь подстилку на еврейском базаре, расположенном на стыке Бибиковского бульвара и Брест-Литовского шоссе недалеко от железнодорожного вокзала и называемом, по бытующей тогда моде все сокращать, «евбаз». Я у старика-еврея долго выторговывал обычный пятипудовый мешок. Правда, мешок был не совсем обычный: на нем было много разноцветных заплат, и это снижало его стоимость. Конечно, на покупку целого мешка у меня не было финансов. А на этот я кое-как наскреб, и после очередной уступки я его приобрел. Мешок был не только латаный, но и грязный, и подстилать его в таком виде было нельзя.

Мы стояли в Монастырском тупике около Киева, недалеко от монастыря. В свободное время я пошел к монастырю. Был морозный день. Около одного из монастырских зданий я встретил монаха. По-видимому, он выходил из бани – рожа его была красная, как бывает у здорового человека, только что попарившегося на верхней полке. Я робко спросил, нельзя ли мне постирать у них мой мешок. Монах, видя, что имеет дело хоть и с красноармейцем, но спокойным, показал на озеро невдалеке и проворчал: «Вот там есть прорубь». В проруби я долго, без мыла, отмывал свой мешок. Мерзли руки. Злость брала при виде дымок, клубившихся над трубами монастырских зданий.

В вагоне нашем помещалось семь человек. По середине стояла чугунная переносная печь. Примерно одна треть вагона была отгорожена перегородкой и предназначалась для привилегированных. В ней помещались: техник штаба Прокопович Павел Николаевич, Федорович Григорий Николаевич или, как он любил себя именовать – Георгий, и адъютант Кузнецов Михаил. В остальной части вагона было четыре места. По углам одна над другой были сделаны из досок нары. На одной из верхних, у потолка, спал я. Подо мной – чертежник Посылкин Николай. Напротив наших нар наверху спал не помню кто, а под ним, внизу, помещались муж и жена Калашниковы. Не знаю, насколько их брак соответствовал тогдашнему закону о браках, но совместная их жизнь на одной полке, подозрительно скрипевшей по ночам, и сопение Васи Калашникова не оставляли сомнений в их фактическом супружестве.

Не помню, какую должность занимал Калашников, но его жена дружила с женой начхоза Яковлева, и с продуктами у них было благополучно. Калашников был высокий, чернявый, с живыми карими глазами и толстыми губами – он производил впечатление солидного человека. Играл в нашей труппе самодеятельности, как и его жена.

Был у него какой-то дефект в носу, и он обычно шумно сопел, но уж зато, когда ночью он выполнял свою мужскую миссию, это сопение и возня немало раздражали нас, прислушивавшихся к сердитому шепоту его жены, которая старалась сдерживать его нуёмную страсть. Иногда Прокопович, помещавшийся за перегородкой, шутя, громко произносил «кхе-кхе», и тогда возня Васи с Катей несколько утихала. По-моему, Вася был глуховат, и до него не доходило, что его сопение и скрип нар могут беспокоить нас. А оно нас, конечно, беспокоило и немало. Картины одна другой лучше рисовались в нашем воображении, ведь все мы были молоды. Утром Вася уходил куда-то, а его Катя с каким-то пренебрежением и вызовом смотрела на нас и начинала возиться у печурки.

Не помню точно, было ли это в 1920 году или несколько позднее, но в памяти моей четко запечатлелась одна поездка в холодном товарном вагоне, и что в результате этой поездки я простудился, у меня заболело правое ухо, и я оглох. И что я лежу в санитарном вагоне, а напротив меня умирает пожилой красноармеец. Но первоначальный диагноз врача, что повреждена барабанная перепонка, и что это пахнет освобождением «по чистой», не оправдался, и ухо мое, после временной глухоты, опять стало мне служить, правда, с небольшой потерей слуха. В дальнейшем я всегда прикладывал телефонную трубку к левому уху.

Подходил к концу 1920 год. Уже был заключен мир с Польшей, а немного позже из Крыма был изгнан Врангель, и если до этого мы находились в напряженном состоянии и в ожидании каких-нибудь неприятностей и неожиданностей, которые несет с собой война, то теперь все вздохнули свободнее. Правда, еще юго-запад кишел бандитскими шайками, но это уже было дело второстепенное.

Дивизион стали лучше кое-чем снабжать, одевать красноармейцев и улучшать их бытовые условия. Ожидали прибытия в дивизион комиссии из Москвы во главе с начальником ЦУПВОСО (прим. – Центральное управление военных сообщений) Аржановым. Об Аржанове рассказывали, что ходил он с палкой и за упущения по службе бил этой палкой командиров частей. Не помню, приезжала ли комиссия, но кое-что в нашем быту изменилось. Например, начальство сочло неудобным проживание семейных пар в одном вагоне с красноармейцами, и в дальнейшем Вася Калашников с женой были переселены в другой вагон.

После почти двухмесячного передвижения по окраинам Киева мы 6 декабря 1920 года очутились в Коростене, где и встречали новый 1921 год. В связи с окончанием войны с Польшей и разгромом Врангеля ожидали каких-то перемен, уже носились слухи о переброске нашего дивизиона чуть ли не в Сибирь.

В один из дней обитатели нашего вагона поехали на участок Коростень-Шепетовка, где-то около станции Яблонец мы пошли на хутора и поселки, где жили немцы-колонисты. По тогдашним временам полуголодной жизни жили они неплохо, продуктов у них было вдоволь. А в мануфактуре и одежде они очень нуждались. Вот начался обмен. У меня были штаны, в которых я выехал из Сновска, которые немало претерпели и имели солидное количество латок (заплат). Я мало надежды имел на их обмен. Была еще казенная нижняя рубашка. Объяснялись больше мимикой, по-русски они почти не говорили. Обмен, к моему удивлению, состоялся, и я получил за свои товары порядочный кусок сливочного масла и еще что-то. Также успешно выменяли свои товары на масло и мои товарищи. А предприимчивый Прока, как сокращенно называли Прокоповича, разнюхал, что где-то недалеко не то разграбили бандиты, не то сторел фанерный склад, а оставшуюся фанеру беспрепятственно тащат местные жители. В результате вернулись мы в Коростень с приличным запасом масла и фанерой. Фанера в виде больших листов пошла на обивку внутри нашего вагона. После этой операции вагон наш преобразился: вместо черных и грязных стен товарного вагона глаз ласкали гладкие желтоватые стены и создавали красоту и уют.

После встречи нового 1921 года в Коростене наш эшелон опять пришел в движение. Второго января 1921 года в морозный день, под вечер, взяв с собой махорку и спички, я пошел

в ближайшее село менять их на хлеб. Нужно сказать, что в армии я не курил и свой паек менял на хлеб. Дул холодный ветер, темнело, да и дорога шла лесом, и шел я не без страха, вспоминая вчерашние рассказы о нападении бандитов, которых было вдоволь в этих краях. В одной из хат состоялся обмен: мне дали краюху хлеба, и назад я бежал уже в темноте, пока не увидел огоньки нашего эшелона на посту Волынском.

Через день мы были уже в Дарнице. Было воскресенье. Из вагона все разошлись, кто куда. Мне как-то нездоровилось, в Киев идти я не захотел, да и холодно было. Потолкавшись на вокзале Дарницы, переполненном мешочниками и прочим людом, валявшимся прямо на полу, я вернулся в вагон и разжег печурку. Хотелось есть. Это было время, когда вопрос о еде был наиглавнейшим и отодвигал на задний план другие вопросы и желания. Думал о доме, о родных, о том, как они там. По-прежнему ли мать бьется, как рыба об лед, чтобы прокормить свое немалое семейство. Мои невеселые думы прервались появлением Прокоповича в сопровождении красивой молодой женщины.

Несколько слов о Прокоповиче Павле Николаевиче. Он сын ленинградского архитектора. Немного выше среднего роста, с кольцами выющихся русых волос, с правильными чертами лица, красными губами и чуточку нагловатыми светло-синими глазами, со стройной фигурой он неизменно пользовался успехом у прекрасного пола. А если добавить, что он еще хорошо играл на пианино, танцевал, недурно рисовал с натуры и умел достойно себя вести в интеллигентном обществе, то неудивительно, что женщины в него влюблялись, заботились и подкармливали.

Женщина, с которой пришел Прокопович, была высокая брюнетка с хорошими формами, красивым лицом. Чем-то она напоминала «Неизвестную» Крамского и, возможно, происходила из «бывших», застрявшая в Киеве после революции. Похоже было, что Дон Жуан нашел себе очередной объект. Глядя на мою злую физиономию и явное нежелание куда-либо из вагона уходить, Прокопович не решился мне об этом намекнуть, и вскоре они ушли. Правда, перед уходом он пошмыгал носом – это было у него признаком недовольства, но я не придал этому значения.

Я преклонялся перед способностями и талантами Прокоповича, прощая ему его некоторые недостатки, и считал его чуть ли не образцом положительного мужчины. Образцом № 1.

Вторым таким образцом был для меня Федорович Григорий Николаевич. Он любил, когда его называли Георгием. Родом он был из г. Мглина, около Суража. Не знаю, каково было его социальное положение до революции, но по его замашкам чувствовалось, что он не из крестьян. Скорее всего, обычный мещанин небольшого заштатного городка, расположенного вдали от железной дороги. Какое училище он окончил – не знаю, но в дивизионе значился как техник. Он, как и Прокопович, возился со схемами мостов, снимая их на кальку. Мне от него перепадали снимки восстановленных мостов. Любил заниматься фотографией, но снимки у него получались неважные. Играл на мандолине и пробовал учить меня. С собой он был не так интересен, как Прокопович. Коренастый, среднего роста, в осанке и чертах лица что-то Наполеоновское. Близость Мглина к истокам реки Снов, схожесть природы наших родных мест давали нам право называться земляками. И на этой почве мы дружили. Правда, он иногда относился ко мне покровительственно-снисходительно, но я не обижался, зная его самолюбивый характер.

В Дарнице к середине января я уже стал обладателем казенной шинели, папахи, гимнастерки, и даже одеяло получил. Но обуви пока не давали (ходил в лаптях), как, ровно, и матраса. Мой мешок, купленный на евбазе, продолжал верно мне служить. Набитый не то соломой, не то сеном, он, конечно, мягкостью не отличался, но с успехом заменял матрас. Нарядившись в шинель и папаху, я посмотрел на себя в зеркало, висевшее около Прокоповича, и остался доволен: вид хоть и не совсем геройский, но на солдата похож.

Сходили в Киев, я мало пользовался транспортом – больше ходил. На евбазе фотограф «щелкнул» меня. Фотография была не из лучших, карточки печатались сразу же, и я скоро получил несколько экземпляров. Одну из них я послал домой в Сновск с надписью: «Правда, вид не совсем солдатский. Ну, да ладно! От сына Александра 18/І 1921 г.».

Почти полтора месяца мы простояли в Дарнице, ожидая каких-то существенных перемен. В середине февраля 21-го года наш ЭХ-1427 подцепился к эшелону, огласил пронзительным протяжным свистом Дарницкие сосновые леса и окрестности и повез нас в сторону Коростеня для того, чтобы после недельного стояния там опять повезти нас обратно в Киев.

В 20-х числах февраля где-то в районе Тетерева ночью наш эшелон стал на маленькой станции. Я дежурил по штабу. В штабном вагоне было уютно и тепло. В одном углу, около денежного ящика, стоял часовой. На стене висел большой портрет Троцкого, занимавшего тогда пост комиссара по военным и морским делам. На другой стене – большая карта с флажками на иголках. Тихо. Я сижу за столом, читаю. Вдруг, телефонный звонок. Звонят из Киева со штаба 3-й желбригады. Я зову дежурного по дивизиону, который будит командира дивизиона Чернозатонского Л.Н. Из разговора командира с Киевом выясняется, что где-то вблизи от нашей стоянки банда Соколовского напала на село, и есть угроза нападения на наш эшелон. В селе бандиты убили представителей советской власти и разграбили село. Не обошлось и без выговора и едкого замечания командиру, что мы-де в Киеве знаем, что делается у вас под боком, а вы спите себе спокойно. Командир приказал поднять всех, разослали пикеты во все стороны от эшелона с целью разведки. Вскоре стало светать. Поступило распоряжение двигаться к Киеву. Гудком наш ЭХ-1427 созвал пикетчиков к эшелону, и мы отправились на станцию Киев-І-товарный. И вот новость! Нас отправляют в Сибирь через Москву.

Мы покидаем юго-запад и движемся к Москве. 27 февраля – Брянск, 28 февраля – Сухачи. Где-то, не доезжая станции Наро-Фоминска, чуть ли не на станции Балабаново, наш глухонемой забеспокоился и с громким мычанием, жестикулируя, пытался что-то объяснить. Едва поезд остановился на станции, как он с радостным воплем побежал на вокзал и стал знаками показывать, что эта станция ему знакома. И, кажется, нашлись люди, узнавшие его. Были люди из родного села глухонемого. Глухонемому дали удостоверение, и он отстал от поезда. Позже, уже в Москве, он нагнал эшелон. При нем было удостоверение на имя Зиновия Кириллюка, выданное сельсоветом. Так глухонемой обрел свое имя и был вписан в документы части.

В Москве мы появились 1 марта 1921 года. Поколесили по окружной железной дороге и от станции Пресня 4 марта направились на Ярославль, миновали Данилов и поздно вечером прибыли на станцию Пречистое. Тут наше продвижение затормозилось.

Поступила команда следовать на станцию Бологое через Рыбинск. Неожиданный поворот из Пречистой в сторону Ленинграда мы объясняли подтягиванием спецчастей для восстановительных работ, которые могли возникнуть в районе Ораниенбаума в связи с Кронштадтским мятежом, разразившимся в начале марта 1921 года.

В Рыбинске меня поразило обилие домов, украшенных резьбой из дерева.

Прибыли на станцию Бологое и повернули на Великие Луки. В Осташков полюбовались гладью озера Селигер, а немного спустя, в районе станции Пено, пересекли Волгу, где-то тут недалеко берущую свое начало. С Великих Лук повернули на Витебск. Наши предположения об Ораниенбауме не оправдались.

11 марта мы прибыли в Оршу, знакомую мне по переходу границы в октябре 1918 года где-то в районе Орши-товарной. Эшелон наш поставили на крайнем пути напротив вокзала. Массивное здание вокзала делило станционные пути на две части. С одной стороны, где мы стояли, шли поезда на Могилев, то есть в сторону моего родного Сновска, а с другой стороны – на Москву и Минск. От церкви, стоявшей в конце нашего эшелона, шла дорога в город, расположенный километрах в 4–5 от вокзала.

Орша – городок небольшой. Одна из главных улиц похожа на городскую, остальные напоминали улицы нашего Сновска. На окраине города протекает река Днепр. Деревянный мост соединяет город с ближайшими селами.

После прибытия в Оршу поступило распоряжение расформировать наш 23-й желдивизион, и личный состав его передать во второй железнодорожный полк. Лично я был назначен переписчиком штаба полка. Наш командир дивизиона Чернозатонский направлялся куда-то в Среднюю Азию в Туркестан.

Передо мной пожелтевшая от времени фотография группы «старожилов» 23-го желдивизиона. На этом июньском снимке 1921 года запечатлено 25 человек. Виден наш штабной вагон. Рядом с Чернозатонским Л.Н. сидит военком Юнг. А с другой стороны – комбат Райский и Федорович. В последнем ряду стоит наш мостовик Зубарев, а за командиром пристроился и оскалил зубы глухонемой Кириллюк, без которого ничто не обходилось. У ног лежит чертежник Коля Посылкин. Важно восседает начхоз Яковлев, а с краю стоит его соперник – любимец его жены и самый лучший футболист нашей команды Сережа Трифонов. Остальных не помню.

К сожалению, не попал в снимок и я. И вот почему. Организатор этой затеи Гриша Федорович также пожелал красоваться на снимке. Он долго инструктировал и учил меня обращаться с его далеко не совершенным фотоаппаратом на треножке, и за удовольствие «щелкнуть» и прослыть знатоком фотоискусства я лишился возможности быть заснятым.

Уходил командир. Он, пожалуй, никому не сделал зла, и люди были признательны ему за это. Ведь уходили же в свое время его помощники Соловень, Печокас или военкомы, как Масленников, Губанов, и уход их никого не волновал. Были они какие-то бесцветные, не проявившие себя ничем запоминающимся. Меня Чернозатонский тоже ничем не обидел и не облагодетельствовал, но мне нравился этот с виду малообщительный, но разговорчивый человек. Он оставил о себе самые теплые воспоминания.

Командиром второго желполка назначен был Седюк. Мужчина среднего роста и среднего возраста. Он оказался немного крикливым и как-то не располагал к себе. Не совсем правильные черты лица и особенно его большой, широкий нос картошкой придавали его физиономии что-то клоунское и вызывали улыбку у глядевших на него. Он это чувствовал и подозрительно посматривал на улыбавшихся красноармейцев. А в общем-то он был человек неплохой.

Адьютантом полка назначили Лисина Николая Андреевича. Это был старый ленинградский холостяк, интеллигентный, спокойный, вежливый. И насколько его предшественник Гоняев был симпатичен и даже красив, настолько Лисин был некрасив. Какой-то лошадиный профиль, серое лицо все в прыщах – он, конечно, не мог нравиться женщинам. Но, как человек интеллигентный, он своим обращением с людьми умел создать себе авторитет, и они прощали ему его физический изъян. У него была любимая присказка: «Дело прошлое».

Помощником адъютанта полка назначили Кузнецова Михаила Ивановича. Коренастый розовощекий крепыш родом из Подмосковья или Владимира, немного рыжеватый. Ему из дома слали посылки.

Военкомом полка был Жизневский. Судя по фамилии и по выговору – поляк. По-польски деликатный, спокойный и уравновешенный, он особыми талантами не обладал. Выступая с речами или в разговоре, употреблял фразу «конец концам» вместо «в конце концов». Он этой фразой, можно сказать, злоупотреблял, чем вызывал улыбку у слушателей.

Моим непосредственным начальством были адъютант полка и его помощник. Как переписчику штаба мне поручили учет людей и лошадей. Напротив меня сидел паренек из-под Перми – Александр Максимович Гунин. В его функции входило составление приказов по полку, с чем он успешно справлялся. Его почему-то дразнили «Гмызиным», вероятно, благодаря его белобрысой физиономии и особенному выговору, которым отличаются жители Предуралья и Урала. До мобилизации он был дежурным по разъезду. У меня с ним были хорошие

товарищеские отношения, и я теперь с теплотой вспоминаю этого скромного «приказиста» Сашу «Гмызина».

Тут же в штабе сидели: Миша Марьенков, тоже движенец, очень худой – у него что-то не ладилось с желудком, почему-то ему дали кличку «седой», и еще один паренек со станции Нелидово, очень похожий лицом и улыбкой на космонавта Гагарина, а вот фамилии его, как это ни печально, я припомнить не могу.

В Орше появился новый истопник, он же посыльный – долговязый парень-белорус. Он никак не мог привыкнуть к слову «товарищ» и говорил по-белорусски «сябра». Это очень смешило русаков, и они с удовольствием называли его «сябром».

До «сябра» отапливал штабные вагоны пожилой красноармеец с густой черной бородой. Этот бородач всегда называл меня ласково «сынок». А куда он девался в Орше – неизвестно, возможно, что и умер. Ведь тогда свирепствовал тиф. Помню, как неожиданна была для нас смерть здоровяка Фомина. Вообще, мы заметили, что физически здоровые, полнокровные люди от тифа умирали, а болезненные и слабые – выкарабкивались. Мне еще в начале мая 1921 года сделали противотифозную прививку, да я и переболел не так давно, в 1919 году, так что тут тиф меня обошел.

Я смотрю на снимок, сработанный Гришей Федоровичем в мае 1921 года. На нем можно различить 20 силуэтов и некоторых даже узнать. В этой случайной группе можно узнать Колю Посылкина, Сергея Трифонова и остриженного Прокоповича. И вот то, что он заснят остриженным, без своих кудрей, наводит на мысль, что Прока переболел тифом. Возможно поэтому он не попал в снимок с Чернозатонским.

Однажды, в жаркий летний день, мы, «штабные», упростились у «обозных» покататься верхом на лошадях. Они их вели купаться в Днепр. Мы вскарабкались на коней и поскакали. Вот уж зрелище было! От нашей посадки и от того, как мы подскакивали, вцепившись в гривы, обозные хохотали до упаду. Это была моя первая верховая скачка и знакомство с конем, то, чему я не успел научиться во время кратковременного пребывания в кавалерийской части в г. Малине в 1920 году.

Несмотря на полуголодное существование и, в общем-то, невеселую жизнь, в свободное время тянуло зайти куда-то за горизонт, увидеть что-то новое. Молодость брала свое. Мои настроения по части хождения разделял и Гриша Федорович, и мы в воскресные дни шли за мост на Днепре, за которым открывалась широкая панорама полей и лесов вдаль. По дороге коротко обменивались впечатлениями о своих родных местах. Длинных разговоров мы не любили, больше молчали. Возвращались всегда очень усталые, но довольные.

Эти воспоминания я пишу по памяти, но много мне помогает в этом деле мой архив. Вот, например, о какой ситуации мне поведали копии трех писем, которые я полностью привожу.

Первое такое – оно написано 24 июня 1921 года за № 2840:

«Командиру 23-го Железнодорожного Дивизиона, копия начальнику 6-го Сновского участка службы пути.

На основании циркулярного распоряжения Мобуправления Всероглавштаба от 7/XII № 052030/м/307 и секретного распоряжения РВСД от 12/IV за № 571237/с все граждане, родившиеся в 1901 году, проживающие на территории Украинской Республики, мобилизации в Красную Армию не подлежат. Ввиду вышеизложенного прошу Вашего распоряжения об откомандировании в распоряжение Западной железной дороги гражданина Украинской Республики Мороза Александра Александровича, родившегося в 1901 году, бывшего конторщика Сновского участка Службы Пути, 20 сентября 1920 года ошибочно мобилизованного в Красную Армию, ныне находящегося во вверенном Вам дивизионе.

Подписали Военный помощник начальника Западных ж.д., Военный комиссар, Начальник Мобилизационного Управления Западных ж.д., Делопроизводитель».

По-видимому, командиру полка Седюку этого распоряжения было недостаточно, и он послал своему высшему начальству рапорт такого содержания 28 июня 1921 года за № 287:

«Начальнику 5-го отдела УПВО СОЗАП.

Рапорт.

Предоставляю отношение Мобилизационного отдела при Управлении Западных ж.д. об откомандировании из рядов Красной Армии военнорельсовника вверенного мне полка Мороза Александра как ошибочно мобилизованного на Ваше распоряжение.

Подписали Командир полка Седюк, Военком Жизневский, Адъютант полка Лисик».

То ли это письмо в УПВО утеряли, то ли еще что, но ответа не было.

И снова, уже 20 августа 1921 года за № 1994, командир полка шлет рапорт:

«Начальнику 5-го отдела УПВО СОЗАП.

Распорт.

Прошу сообщить о результате возбужденного Мобилизационным отделом при Управлении Западных жел. дорог ходатайства об откомандировании из рядов Красной Армии военнорельсовника вверенного мне полка Мороза Александра как ошибочно мобилизованного.

Подписали Командир полка Седюк, Военком Жизневский, Адъютант Лисин».

Не знаю, был ли ответ командиру на его второй рапорт, но дело кончилось тем, что я продолжал служить, и был демобилизован по общему приказу только в 1924 году. А может быть дело это прекратилось из-за того, что я уже повзрослел на год, и решили не прерывать службу.

Да, мобилизован в 19 лет я был преждевременно, а узнал я об этом, прослужив в армии почти год. Когда меня мобилизовали в 1920 году, я чувствовал, что тут что-то не совсем ладно. Ровесники мои не призывались, а меня «забрили». Но я не жалею, что все так сложилось, и что я пробыл в армии более трех с половиной лет. За эти годы я возмужал, много поездил, много чего узнал, и мой культурный уровень поднялся на ступеньку выше. Особенно за последний год службы в Москве. Лекции, музеи, картинные галереи, до чего я был большой охотник, этого было в Москве достаточно.

Наш полк принимал участие в работах по окончанию и сдаче в эксплуатацию железной дороги Орша-Унеча, строительство которой было начато еще в 1914 году, и сданной полностью в эксплуатацию только в 1923 году. Люди нашего полка уложили несколько километров линии до станции Горки и далее. Запомнилась мне поездка в поезде, организованном для открытия станции Горки.

Я ехал в одном из товарных вагонов, который, несмотря на небольшую скорость, подпрыгивал на стыках и шатался из стороны в сторону. Проехали станцию Зубры и вот – Горки. Паровоз пшикнул, остановился и сразу был окружен встречающими. Поодаль стояли люди и не подходили близко. Началось нечто похожее на официальное открытие станции Горки и пуск в эксплуатацию участка Орша – Горки. В Горки – городок, похожий на большое село, и знаменитый своей сельскохозяйственной академией, мы прибыли в полдень. Были короткие речи, перерезали ленту... И когда собравшиеся горожане и крестьяне ближайших сел, не видевшие паровоза, услышали его голосистый гудок, а потом увидели движущийся в облаке пара поезд, то они быстро побежали в сторону от железной дороги. Когда поезд остановился, они робко приблизились. И стоило машинисту дать свисток и, пустив пар, двинуться, как они снова опрометью разбежались по сторонам. Старушки стояли поодаль и крестились, они вообще не подходили близко. Потеха! Самое странное, что это происходило в каких-то 40 километрах от Оршанского железнодорожного узла. Машинист еще немного продемонстрировал силу и мощь своего стального коня, и мы укатили обратно в Оршу.

Год 1921 прославился как год голодный. И если в Поволжье люди умирали от голода и бросали свои родные места, то мы все же как-то прозябали. Получали продукты вперед на

несколько дней и пробовали жить «коммуной», но с этой затеей ничего не получилось. Первые дни питались сносно, а потом, когда до получения пайка оставалось еще немало дней, а запасы наши уже были съедены, пришлось затягивать ремни и как-то выкручиваться поодиночке. Метод коммунального питания не привился, и каждый стал питаться самостоятельно. Но скоро появилась общая кухня, на которой получали по котелку какой-то бурды с котла.

Через Оршу шли эшелоны с голодающими, ехавшими с Поволжья куда-то на запад. Наш эшелон стоял напротив вокзала, и беженцы с проходивших эшелонов почти непрерывно стучали в дверь вагона. Но что мы могли им дать? Сами жили впроголодь и изощрялись в способах прокормиться, кто как мог и умел.

Оригинальный способ избрал наш Прока – Прокопович Павел Николаевич. Этот наш красавец с талантами Дон Жуана в это голодное время воспользовался способностями альфонса. Все данные для благосклонного внимания и успеха со стороны женщин у него, безусловно, были. Женщины просто льнули к нему. Конечно же, он этим хорошо пользовался – женщины его подкармливали.

В Орше у нас появилась «вольнонаемная» машинистка-оршанка Мурочка. Не знаю, как далеко у них зашло со взаимными симпатиями, но при появлении в штабе Павла она заметно смущалась и краснела, а он окидывал ее своим нагловатым взглядом и говорил что-нибудь общее, малозначительное. Однажды на листе ватмана он нарисовал Мурочку. С собой она была недурна. Портрет этот, сделанный с натуры, по общему мнению, был удачным. Потом Павел Николаевич нарисовал автопортрет. Были и другие рисунки.

Отец его был ленинградским архитектором, в этом я убедился, когда после демобилизации в 1925 году был у них на квартире на Гулярной улице (в Ленинграде). Помню, в квартире было изобилие репродукций, планов. Возможно, что эта домашняя обстановка и профессия отца послужили развитием художественного вкуса у сына Павла. Во всяком случае, Прокопович, несмотря на некоторые отрицательные стороны его характера, стал мне нравиться еще больше, благодаря этому вновь открытому в нем таланту художника.

С тех пор я тоже иногда пытался рисовать. В общем, то, что у меня проявилось гораздо позднее, т. е. интерес и стремление к изобразительному искусству, было следствием моего знакомства с П.Н., который сумел приохотить меня к этому и развить какие-то, пусть незначительные, способности.

Была у П.Н., кроме Мурочки, еще одна оршанка – артистка-любительница. Она жила с сестрой у родителей в доме где-то между вокзалом и городом. При доме сад, довольно обширный. Прокопович часто ходил к ним домой днем, а ночью водил нас в ее сад, где мы нагружались яблоками. Собака, знавшая Прокоповича, лизала ему руки, и мы крали яблоки беспрепятственно. Бывали дни, когда мы только и питались кислой антоновкой без хлеба. Хлеб получали наперед, и он не водился до следующей выдачи.

Помню, однажды Прока пришел с побитой мордой, с порванными штанами и царапинами на руках. Как потом выяснилось, его поймали сторожа около складов с картошкой, ему попало, и он насилу удрал оттуда. Впрочем, налеты на картофельные огороды приняли такой характер, что жители приходили днем жаловаться командиру. Командир выстраивал красноармейцев, виновных хозяева не опознавали и уходили смущенные. Мы же доходили до такой наглости, что, идя на этот грабеж, брали с собой винтовку, и сторожа, видевшие такую ораву, отворачивались, будто не замечая нас, орудующих над неохраняемым картофельным полем. Трудно поверить, что командир Седюк и военком Жизневский, глядя на наши чуть ли не ангельские рожи, верили в нашу непогрешимость. Но что им оставалось делать? Да, скверная штука – голод, из-за него человек часто превращается в скотину.

Подходил к концу 1921-й год.

Утром, проходя вдоль путей, забитых эшелонами с беженцами из Поволжья, мы натыкались на трупы детей, выброшенные отупевшими от голода и горя родителями.

На рынке в основном шел товарообмен. Деньги катастрофически обесценивались. Если сегодня за какую-то сумму я мог приобрести килограмм хлеба, то завтра он уже стоил много дороже. Например, мое месячное жалованье в январе 1922 года было 350 000 рублей. В феврале мне уже выдали 787 000, а в марте – 1 050 000. И за этот миллион вряд ли я мог купить 1 килограмм хлеба.

У меня сохранился лотерейный билет дивизионной помощи голодающим при 4-й стрелковой Смоленской дивизии. Цена его 100 000 рублей, а главный выигрыш – 25 миллионов рублей. Да, ворочали мы когда-то миллионами.

Моя постель располагалась на верхних нарах, под потолком. Вагон не был теплушкой в полном смысле этого слова. Правда, внутри он был обит фанерой, но это мало утепляло его, а служило лишь украшением. Пока горела грубка, в вагоне было тепло, а мне даже жарко. Но к утру болты над моей головой покрывались снегом, и приходилось укутываться с головой всем, что только могло согреть. В особо морозные ночи, под утро, большинство из нас ворочались и кряхтели, хотя до утреннего подъема еще было далеко. Наконец, самый замерзший, не выдержав, с руганью соскакивал со своего ложа и, бормоча какие-то проклятья, быстро разжигал грубку. Когда начинало теплеть, головы постепенно высовывались, и слышалось «гы-гы». А истопник, уже охладевший от гнева, говорил: «Спасибо скажите, паразиты, а то бы околели»

В конце марта 1922 года штаб полка перебросили в Борисов. Оршанка Мурочка осталась в Орше. Вместо нее за машинку села сестра помощника командира полка Ларина – Екатерина. Екатерина Ларина была незамужняя девица лет 30–35. Скромная, красавицей не назовешь – она ничем особенным не выделялась. Родом она была из-под Буды-Кошелевской. Когда в штабе появлялся лекпом (прим. – помощник лекаря, фельдшер) Тарасов – высокий широкоплечий блондин с улыбочивым лицом, Катя заметно оживлялась, ее карие глаза начинали блестеть. Тарасов ничем особым не проявлял своих симпатий, но молва утверждала, что между ними есть любовь.

Должен признаться, что я по своему характеру хотя и казался тихоней, но любил пускать «шпильки» влюбленным, и бедная Катя немало натерпелась от меня намеков на эту тему. Тарасова я не трогал. Впрочем, в любовных интрижках в полку недостатка не было.

Ни для кого секретом не было ухаживание жены начхоза Яковлевой за прославленным футболистом Сергеем Трифоновым. Я не ошибся – действительно, она, мать двоих детей, гонялась за Сережей, и он принимал это, как должное. Сам начхоз Яковлев мужчина хоть и видный, и симпатичный, лет 40–45, чем-то не угождал жене, и она, тридцатилетняя, увлеклась двадцатилетним Сережей. А ухаживание жены начхоза в те насытые годы было не так уж бесперспективно, и Сережа питался неплохо.

А чего стоила жена комвзвода Овчаревич Рая! Бабенка была в соку, не уродлива собой, играла на любительских спектаклях. На мужа своего, Овчаревича, мужчину довольно потрепанного вида, начинавшего лысеть, и далеко немолодого, она мало внимания обращала, хотя он и изводил ее ревностью. Кончилось тем, что она сумела-таки совратить очень симпатичного, видного черноволосого мужчину средних лет – политрука по фамилии не то Батурин, не то Бакунин. Дело дошло у них до того, что они уже перестали делать тайну из своих взаимоотношений и совершенно перестали считаться с бедным мужем.

Не могу не вспомнить еще об одной «любовной» паре – это о Заговалко и Ульяне. Ульяна была еще в желдиве, работала прачкой. Была молодой, здоровой девицей, недурной собою. Ничего плохого о ней не говорили, пока не появился красноармеец Заговалко Николай. Николай – стройный, смазливый блондин лет 20–21. Был он на редкость неразговорчив, какой-то замкнутый. Ребята любили подтрунивать над Николаем по поводу его тайных свиданий с Ульяной, но он отмалчивался, или, самодовольно посмеиваясь, на все вопросы о его успехах отвечал немногословно: «Порядок». При встречах с Ульяной на людях он относился к ней подчеркнуто покровительственно, как бы показывая, что ему безразличны и ее робкие взгляды,

и смущение при виде него. Забегая вперед, скажу, что позже, уже когда мы были в Москве, у Ули появился ребеночек, и никто не сомневался, что отец его – Заговалко.

1 мая 1922 года в Борисове нас подняли рано. Помимо обычного первомайского парада предстояла церемония принятия воинской присяги. Нам тогда объявили, что это была первая присяга в Красной Армии. Командира полка Седюка почему-то не было. Командовал его помощник Ларин. Нас выстроили на каком-то плацу. Около трибуны – знамя полка. На трибуне кто-то читал слова присяги: «Я сын трудового народа», а мы хором повторяли. Событие это было запечатлено на фотокарточке.

Помощник командира Ларин – высокий, худощавый, неразговорчив. Его жена – миловидная молодая женщина, немая. Объясняются они при помощи письма. Жена Ларина и его сестра Катя живут мирно.

В Борисове мы стояли около железнодорожной станции. До города неблизко, и ни город, ни река Березина как-то не врезались мне в память, хотя были тут исторические места Наполеоновского отступления.

В Борисове на кладбище, вблизи железнодорожного полотна, мы похоронили красноармейца Говорова Василия. Был он веселым, молодым краснощеким парнем, и подкосил его тиф. Над могилой были речи. Приезжали на похороны его родители.

В один из весенних солнечных дней мы лазили по заболоченному лесу. Под ногами кишели небольшие гадюки и ужи. Их было такое множество, что я и сейчас живо представляю это скопище гадов. Даже странно – гадов запомнил, а исторические места Борисова нет.

В мае 1922 года штаб полка передвинули из Борисова в Жлобин. Состав наш поставили напротив вокзала в тупик, упирающийся в паровозное депо. За депо находился сенопункт, где тоже размещались люди нашего полка.

С тех пор, как мы обили наш вагон фанерой, прошло немало времени, и за это время клопы и блохи успешно обосновались на постоянное жительство и размножились до такой степени, что нам стало невмоготу. Они не давали спать и нещадно пили нашу кровь. За дело взялись санитары и решили провести борьбу с паразитами. Заложили в грубку серы и подожгли ее. Вагоны закрыли, и мы спали кто где. Мор этот длился двое суток. Ночи были теплые, мы народ неприхотливый, и несколько ночей провели вне вагона. Потом вскрыли вагоны, сунулись туда – клопы, как будто, подошли, но и нам ночевать нельзя было – воняло серой. Лишь через неделю мы начали ночевать в вагоне и просыпаться утром с головной болью. А когда запах серы выветрился, и мы стали спать более-менее спокойно – клопы снова появились.

В начале июня 1922 года помощник адъютанта Кузнецов отпустил меня на четыре дня в Сновск, что подтверждает сохранившаяся у меня увольнительная. Уходя в Красную Армию, я оставил дома немало всяческих книг и переплетенных журналов, приобретенных разными способами. В журналах отразились все предреволюционные события, а с февраля 1917 года и революционные. Менялись министры, сменялись власти, и все это в журналах описывалось и иллюстрировалось. В общем, это был богатый исторический материал «из первых рук», исходивший и обработанный в духе своего времени вездесущими журналистами и газетчиками. Жизнь моих родных не сильно изменилась за это время, принимали меня очень тепло и радушно. Уезжая, я решил взять с собой наиболее интересные книги и журналы. Я организовал из них одно увесистое место, распростился с родными, провожавшими меня, и устроился на нижней полке вагона. Ехать пришлось ночью сидя. Я положил тюк с книгами меж ног и задремал. Когда проснулся – книг уже не было. Воришка, наверно, немало разочаровался, не найдя в тюке ничего, кроме книг. Из дому продуктов мне не дали, ценностей у них тоже никаких не было. Впрочем, если бы журналы не украли тогда, то их наверняка пришлось бы бросить при эвакуации из Гомеля в 1941 году.

Что значит молодость! Я как вспомню, как висел вниз головой на пальцах ног, так самому не верится. В вагоне нашем обычная дверь товарняка на колесиках была закрыта, а входом

служила узенькая дверь на петлях. Спускались на землю по съемной лестнице. Над дверью была прибита неширокая планка. И вот, я берусь руками за эту планку и поднимаю ноги, цепляюсь пальцами ног за планку и медленно опускаю туловище. Повисев некоторое время вниз головой и держась лишь на пальцах ног, я проделываю обратный маневр. Поистине цирковой номер! Конечно, при неудаче я рисковал сломать себе шею или пробить голову.

Проделывал я эти номера не всегда бескорыстно. Мой непосредственный начальник Кузнецов, который частенько получал из дому посылки, награждал меня коржиками домашнего изготовления. Но, как и всякий, даже оригинальный трюк со временем приедается, так и Кузнецову он наскучил, и он все реже заказывал это представление.

В 20-х числах июля 1922 года по каким-то неведомым соображениям высшего начальства нас прокатали из Жлобина в Оршу и в Смоленск. В Смоленске мы пробыли один день, и я успел побегать по центру города, побывал у исторических мест 1812 года и у памятника Глинке. Потом нас снова вернули в Жлобин.

Состав наш временно стоял на сортировочных путях между вокзалом станции Жлобин и северным постом. В выходной день я пошел побродить по городу, отстоявшему километрах в двух от станции и расположенного вдоль берега Днепра. Расположение железнодорожного пути и моста через реку как-то напоминало путь к мосту в Сновске.

Побродив по городу, я под вечер подошел к железнодорожному вокзалу. Встретил среди прогуливающихся красноармейцев несколько знакомых товарищей из полка. И вдруг... перестал видеть. Вернее, я видел не всю фигуру человека и даже не все лицо, а только его глаза. Я остановился и стал спрашивать, нет ли около меня красноармейцев второго желтого полка. Отозвалось несколько голосов. Я рассказал о своей беде и попросил отвести меня к эшелону. Меня привели в санитарный вагон. И я стал ждать врача. И странное дело – когда я попал в вагон, освещенный электрическим светом, то стал все видеть, в том числе и приведших меня. Врача долго не было, и я, не дождавшись его, пошел в свой вагон и лег спать. В дальнейшем я узнал, что у меня был приступ «куриной слепоты» в результате плохого питания. Не помню, лечился ли я, но некоторое время боялся ходить в вечернее время. Потом все прошло.

Да, как несовершенны были снимки Гриши Федоровича, но они мне напоминают о некоторых полковых товарищах. Вот передо мной майский снимок 1922 года. Различаю свою фигуру, а лица совсем неявны. Вот Табако, а рядом с ним не Катя ли Ларина? Похоже, что она. Оригинальный тип, этот Табако. Рыжеватый, с оттопыренными ушами, он прославился как мастер скабрезных анекдотов. Особенно досаждал он своими насмешками женщинам. Доставалось от него и Кате Лариной. Или вот сидящий в кресле Федорович Гриша. Сидит, важно разваливаясь. Было такое кресло настоящее, мягкое, у Прокоповича. И откуда только он его выкопал? А вот засняты Федорович и его друг Каптелов. Несмотря на дружбу, политрук Каптелов не сумел сагитировать Гришу вступить в члены партии. Впрочем, ни военком Жизневский, ни политрук Каптелов не досаждали беспартийным в смысле втягивания в ряды партии. Оба они не отличались ораторскими способностями, и дело это было предоставлено на самотек.

С деньгами происходило что-то странное. Записи в моей красноармейской книжке свидетельствуют, что я в апреле 1922 года получил 2 100 000 рублей, в июне 1922 года уже только 4 200 рублей, а в июле 1922 года только 420 рублей. Происходило какое-то отбрасывание нулей. Затем, с августа по ноябрь 1922 года мне платили по 1200 рублей в месяц. В декабре 1922 года после переформирования полка я был назначен старшим переписчиком штаба полка с окладом 1000 рублей в месяц. В начале 1923 года в результате денежной реформы я стал получать десять рублей в месяц.

Подходил к концу 1922 год. Из вагонов нас выкурили не только клопы, но и приказы начальства. Нас разместили в разных помещениях вблизи железнодорожного вокзала станции Жлобин. Часть людей была на сенопункте за депо. Штабная команда, старшиной которой

назначили меня, разместились в каком-то лабазе торговца. Это каменное низкое здание находилось на улице, ведущей от вокзала в город.

Разбирали, чистили винтовки, изучали устав, маршировали, бегали с котелком за обедом и ужином на кухню, находившуюся на сенопункте. Купались в Днепре, который я свободно переплывал в районе мостов. В штабе появилась вольнонаемная жлобинская машинистка Антонова. В свободное время ходили к лесу в сторону Минска или по линии в сторону Могилева. По деревянному мосту, параллельному железнодорожному, пересекали Днепр и шли к станции Хальч. Особенно любил этот маршрут я – он на несколько километров приближал меня к родному Сновску.

Запомнился случай, когда мы на лодке, отъехав несколько километров от Жлобина, около какой-то горы шашками глушили рыбу. Дело это запрещалось и преследовалось, и мы больше натерпелись страха, чем наловили рыбы – всплыло ее немного.

Ну, что еще можно вспомнить о Жлобинском периоде? Разве о Лаврентьеве? Был такой чудака «с улицы Бассейной». Небольшого роста, плотный – он поражал нас своей феноменальной рассеянностью. Неплохой математик и вообще парень далеко не глупый, пожалуй, даже с высшим образованием – он пользовался уважением товарищей. Но рассеян был до чертиков! И этим немало развлекал нас.

Новый 1923-й год встретили в Жлобине. Не помню точно, когда вместо командира полка Седюка и военкома Жизневского появился новый командир Верженский Адам Иванович и комиссар Дьячков, а вместо адъютанта Лисина – Николаев. Может быть, это было в ноябре 1922 года, когда полк был переформирован по штатам мирного времени, а может быть позже, в апреле 1923 года, когда полк переформировали в батальон, но у нас появилось новое командование. По-видимому, Седюку была ближе Орша, и он стал командиром 30-го желдивизиона, располагавшегося в Орше.

После переименования полка в батальон нас погрузили в эшелоны, и мы распрощались со Жлобиным. 28 апреля 1923 года мы миновали Почеп, а 30 апреля очутились в Москве. На этот раз уже не проездом, как в мартовские дни 1921 года, а с выгрузкой из вагонов и «оседлостью» в казармах на целый год.

Еще перед выездом из Жлобина в апреле 1923 года, вероятно в связи с переименованием полка в батальон, у нас отобрали винтовки, а дня через четыре выдали новые. Моя винтовка с семизначным номером 7914972 – номером, который прочно запомнил, сменилась четырехзначным № 9124.

В Москве, освободив состав, мы погрузили на подводы свои винтовки и нехитрый личный багаж и двинулись на новое наше месторасположение в трехэтажную казарму на Измайловском валу в районе Семеновской заставы. Казарма стояла на берегу Хапиловского пруда в тупике Измайловского вала. По ту сторону пруда виднелись стены церкви и службы Преображенского монастыря. В противоположном конце Измайловского вала – Семеновское кладбище, а дальше – Благуша с домиками, как в Сновске, и еще дальше – станция Черкизово и Лосиноостровская Окружной железной дороги. Штаб размещался на втором этаже, в остальных помещениях жили мы и комсостав с семьями. Почти рядом с казармой – футбольное поле. Центр Москвы был в 4-х километрах от казармы.

Меня всегда влекло побывать в новых местах. Познакомиться с их особенностями, красотой, с их историей – это меня всегда манило. За два с половиной года странствий в железнодорожных частях я во многих местах побывал, детально ознакомился с красавцем Киевом и другими городами юго-запада. Пожил по несколько месяцев в Белорусских городах: Орше, Жлобине, Борисове. Во многих местах побывал проездом, но попасть надолго в Москву – такой мысли не было! Поэтому неудивительно, что когда это чудо произошло, то я с азартом игрока кинулся знакомиться со всем, что таил в себе этот великий город. А чудес было – хоть отбав-

ляй! Каждый свободный день и час я не сидел в казарме. Попросив товарища получить на меня обед, а то и ужин, я с увольнительной в кармане отправлялся в путь.

Ботинки я получил, были они тяжелые, но прочные, а это мне и требовалось. Денег я получал немного, рублей 100 в месяц. Купить за них можно было самую малость. Поэтому я предпочитал пешее хождение. А в масштабах Москвы это значило немало.

Наметив какой-нибудь из музеев, я добросовестно часами ходил по его залам и, закончив осмотр, шел еще или на Воробьевы горы, или другой какой пункт, отстоявший в десятке километров от казармы. Когда окончательно выбивался из сил, то назад добирался трамваем. Между прочим, за трамвай тогда платили в зависимости от расстояния. Обычно же туда и обратно я ходил пешком. Обед с ужином поглощался моментально.

Мое непосредственное начальство – адъютант Кучинский, а затем адъютант Николаев, были люди неплохие и увольнительные давали без всяких препятствий. Я у них пользовался авторитетом. Николаев – щедушный, немного нервный человек. Он близорук, пользовался очками. Чувствовалось, что он человек культурный, и своими манерами, и обращением подтверждал это. Кучинский был проще, в полку жил с семьей. Иногда какой-то польский гонор появлялся в нем, но, в общем, он был безобидный начальник.

Адъютанты мне иногда доверяли выполнение некоторых своих функций. Так, например, поручали давать пароль и отзыв на сутки. С немалой гордостью я в виде пароля давал слова вроде «Камка» и отзыв «Бреч» – слова, очень близкие мне по родному Сновску, и ничего не говорящие тем, кому их приходилось заучивать и ими пользоваться.

Будучи в Жлобине на казарменном положении, штабная команда помещалась обособленно в небольшом здании лабаза. В Москве же нас поместили в большой комнате вместе с красноармейцами других служб и подразделений. У каждого отдельная постель: на двух козлах лежал матрас, подушка, простыни и одеяло. В шесть часов – подъем. Услышав залиvistый сигнал фанфары, мы, чертыхаясь, спешили поскорее одеться и заправить постели, чтобы уложиться в минуты, данные на это дело.

Впрочем, был у нас в казарме один чудак. Или у него от природы была замедленная реакция, или ленив он был до чертиков, но почти не было случая, когда бы он уложился в срок. Взыскания не помогали, он безропотно отбывал наказание, но исправляться и не думал.

Жил с нами и глухонемой Кириллюк Зиновий, недавно нашедший свою фамилию. Почему-то немой и чудак не любили друг друга. А мы, раскусив эту их неприязнь, стали пользоваться случаем, чтобы науськивать одного на другого для потехи. Например, подложив под подушку немого кухонный нож, знаками объясняли ему, что это сделал его недруг. Немой с рычанием и с ножом в руках подбегал к чудаку, а тот пускался наутек. Такие неумные шутки нас веселили, и мы дружно хохотали. Вообще же, эти двое – немой и его недруг, были постоянными объектами разных смехотворных и дурацких шуток. То привяжут к козлам веревку, незаметно дернут – и лежащий с вытаращенными глазами уже не лежит, а сидит на полу со своей рухнувшей кроватью. И если сидит немой, то ему внушают, что это сделал его недруг, и тот летит с дикими криками к чудаку. И наоборот. Немой не всегда был безобиден. Если его сильно разозлить, то он мог и изувечить. Одна вроде бы пустяковая комбинация очень раздражала немого. Стоило только приставить большой палец к виску около уха, а остальными помахать, как немой хватал что попало и гнался за обидчиком.

Было немало казарменных развлечений. Например, провинившегося в чем-то клали на постель, задирали рубаху, одной рукой оттягивали кожу, а ребром пальцев другой наносился быстрый удар по оттянутой коже. Это называлось «рубить банки». Иногда в казарме бывал такой тяжелый дух, что хоть топор вешай. Пробовали производить эксперименты с отходящими газами: один нагибается и пускает газ, в то время как другой с горящей спичкой стоит около него... Иногда получался небольшой взрыв. Или такое: у кого-то назревала большая

порция дурного газа, он кричит: «Зуб!», а другой отвечает: «Рви!», и раздавался оглушительный треск. Так и рвали, и развлекались.

Жил с нами повар. С собой массивный, но какой-то рыхлый, с бледным цветом лица. Дразнили его «Антанта». Нам, его сожителями по казарме, он старался наливать погуще и побольше.

Не могу не вспомнить «цыгана». Весь какой-то черный, с красным лицом, он и впрямь походил на цыгана, хотя родом был из-под Муром. По утрам его спрашивали, сколько лошадей он украл за ночь. Он скалил свои белые зубы, и спрашивающий получал дружескую оплеуху.

Если в 1918 году моя мечта побывать в Москве осуществилась, и тогда за короткое время пребывания я мог ознакомиться с ней лишь в самых общих чертах, то теперь передо мной открывались новые горизонты. Да и за пять лет советская власть укрепилась, облик города изменился. В ресторанах нэпманы с музыкой распивали дорогие вина и коньяки. От них не отставали «совбуры» (прим. – советская буржуазия). Ну а кто попроще, те тянули «рыковку» – так называлась по имени предсовнаркома Рыкова сорокоградусная водка.

Между прочим, не помню, чтобы, будучи в армии, я бывал пьяным. Я не курил и не пил. А вот насчет ругани – ругался. Это чтобы не отставать от массы. Было у нас в ходу выражение «слабо». Оно употреблялось, когда нужно было кого-то подзадорить. А тот из кожи лез и доказывал, что ему «не слабо».

В первое время я направился на уже знакомые места по 1918 году, которых было не так уж много, а потом начал детально знакомиться с внешним обликом Москвы, с ее проспектами, бульварами, кольцами, заставами, улицами, площадями, церквями чуть ли не в каждом квартале, с садами, скверами. Толкался на Сухаревке, Охотном ряду, у Ильинских ворот на «черной бирже» – это все места, где тьма тьмущая каких-то темных личностей и «нэпманов». Ходил кругом храма Христа Спасителя – этой громадины, видной со всех концов Москвы, вокруг которого соседствовали и Кремль, и Москва-река с мостами, и картинные галереи Цветковской и Западных искусств, Музей изящных искусств и много, много всего другого. Потом Нескучный сад, Воробьевы горы, Сокольники.

В музеи я стал ходить позже, когда в общих чертах ознакомился с городом. Одним из первых музеев, где я не раз побывал, был политехнический, недалеко от Лубянки. Потом исторический и другие. Это были бессистемные, одиночные экскурсии от случая к случаю.

Все изменилось, когда я ознакомился с одним крупным московским культурным очагом – рабочим дворцом им. Ленина, что на Введенской площади. Еще более широкие горизонты открылись для меня, когда стали понятны цели и задачи, проводимые дворцом. Дворец на Введенской площади находился немногим больше одного километра от нашей казармы в сторону центра. Поблизости много производственных предприятий, и одно из них, очень крупное, было таким шумливым, что мы, проходя по Семеновской улице, удивлялись, как терпят и переносят этот постоянный шум окрестные жители. По выходным дням дворец организовывал экскурсии в музеи, галереи, походы в разные интересные места. По обычным же дням во дворце проводились лекции, театральные представления, работали разные кружки.

При дворце было организовано общество Друзей рабочего дворца, сокращенно его называли ДРД. Члены общества дежурили, следили за порядком. Вскоре я стал членом ДРД, а позднее записался и стал посещать открытую при дворце советско-партийную школу вместе с несколькими товарищами нашего полка.

По выходным дням организовывались экскурсии. Подбиралась группа желающих из заводских рабочих и служащих, и нас, красноармейцев. Нам давали трамвайные талоны, назначали руководителя группы, и мы добирались до назначенного пункта. Осмотрев музей, мы расходились и домой добирались кто как. Я часто обратно шел пешком, и у меня образовался запас трамвайных талонов, таких спасительных при очень дальних походах.

В жаркий летний день я попал на Всероссийскую хозяйственную выставку, расположенную на территории Нескучного сада. Там мне посчастливилось слышать выступления Калинина М.И. и Клары Цеткин. Присутствие на выставке Калинина и его речь позволяют мне предположить, что это был день открытия выставки, т. е. 18 августа 1923 года. Сколько людей разных национальностей собралось на выставке! Какие-то с Востока на верблюдах оглушительно трубили в длинные трубы. Кругом пестрые одежды, непонятный говор вперемешку с русской речью, вся территория Нескучного сада застроена павильонами республик. Но вот на веранде второго этажа одного из павильонов появляются М.И. Калинин и Клара Цеткин. Они произносят речи. Клара Цеткин говорит по-немецки, голос сильный, энергичные жесты. М.И. Калинин – старичок в очках с бородкой клинышком, говорит не так громко, как Цеткин. Меня очень удивило, что Клара Цеткин в ореоле своих седых пышных волос, выглядевшая много старше М.И. Калинина, говорила необычно звонким, молодым голосом. Речь ее была далеко слышна. Голос Калинина намного слабее.

Запомнилась экскурсия на недавно открытую тогда Шаболовскую радиостанцию. Собралось нас немного и от дворца двинулись к трамваю. Добрались до Шаболовки. Нас повели по комнатам. Рассказали в общих чертах о назначении станции, о ее работе. Около шумевшего и гудевшего какого-то агрегата мы постояли, раздвинув рты. Я лично мало что тогда понимал в радиотехнике, и не все объяснения руководителя доходили до моего сознания. Но я был доволен, что побывал в современном, передовом техническом сооружении, посещение которого было не совсем общедоступным. Выйдя из здания радиостанции, мы еще раз поглядели на гордо возвышавшуюся башню, такую на вид простую и такую чудодейственную.

На экскурсию в дом писателя Льва Николаевича Толстого, кажется, в Хамовниках, нас собралось несколько человек, причем большинство было красноармейцев. Миновали Воздвиженку и вот – особняк. Помещение не очень большое, обстановка – как при жизни Толстого. Пояснения давала пожилая женщина, почему-то мне запомнилось, что это была близкая родственница писателя. За время стоянки в Москве мы уже «окультуривались» и, с присущем молодости легкомыслием, полагали, что многое нам известно и в жизни, и в литературе. К тому же мы были слушателями совпартшколы при дворце, так что обладали, по нашему разумению, кое-каким политическим багажом. В общем, самолюбия и гонора у нас было хоть отбавляй! По этой причине мы, слушая пояснения женщины, начали показывать свою «образованность» и выступать с репликами и пререканиями. Я, например, высказал такое глубокомысленное суждение, что де, хорошо было Толстому, похаживая за плугом, прийти домой, плотно поесть, одеться во все чистое, лечь в хорошую постель и т. д. и т. п. И что, мол, крестьяне таких условий не имели. Я не понимал тогда, как это нетактично. Женщина поглядывала на нас и никак не реагировала на наши нескромные реплики. Ведь это было время, когда ореол славы таких людей, как Толстой, Пушкин, Суворов и многих, многих других, после революции поколебался. Ведь Толстой был не только писатель, но и граф... И пролетариат, и простые люди помнили, что они – представители свергнутого класса, и причисляли их к категории буржуев. Да, нужно признаться, мы, будучи профанами, судили о многом со своей, не слишком высокой, колокольни, и некоторые наши реплики были неуместны. Так, лягнув ослиным копытом в память великого писателя земли русской, мы покинули музей.

Однажды во дворце объявили, что намечается организация экскурсий в Кремль и полет на самолете над Москвой. И хотя желание полетать и побывать в закрытом тогда Кремле с его царь-пушкой и колоколом было огромным, я тогда и не полетал, и в Кремль не попал. В Кремле в-первые мне пришлось походить много позже, когда он стал доступен для всех, а на самолете полетел еще позднее.

Но не только посещением музеев, галерей и исторических мест Москвы мы были обязаны дворцу. Здесь систематически проводились лекции на всевозможные темы. Запомнился уче-

ный невропатолог Россолимо Григорий Иванович. Он учил нас разбираться в вопросах физиологии, рассказывал о нервных болезнях. На его лекциях всегда было много слушателей.

Но самыми интересными и желанными были лекции на антирелигиозные темы атеиста Ивенина. Мужчина выше среднего роста, коренастый брюнет с резкими чертами лица, с хорошей дикцией и могучим голосом, обладая талантом артиста, он сразу завоевывал симпатии аудитории. Правда, было что-то бульдожье в нижней части его лица, что не красило его облик, но мы, постоянные слушатели его лекций, привыкли к этому недостатку. Стоя на трибуне, он всегда начинал лекцию спокойным, негромким голосом, и по мере того, как библейские или евангельские несуразицы, о которых он вел речь, все более и более становились противоречивыми, он начинал жестикулировать, и его голос все более и более повышался. Перед нами уже был не обычный лектор, а артист своего дела. Все его доводы были общедоступными и доходчивыми. Они убеждали, заставляли верить в правоту его высказываний. На трибуне у него лежали Библия и Евангелие, и он в нужных местах приводил цитаты из них и опровергал их логическими выводами. Часто он даже в каком-то экстазе ударял себя в грудь и призывал Бога покарать его на этой трибуне, дабы прекратить его богохульные речи. Но всемогущий, всевидящий, всезнающий и всемогущий Бог не мог справиться со своим несговорчивым и неуступчивым противником не только в Введенском рабочем дворце, но и во многих других клубах Москвы, где он сеял ростки атеизма.

Проводились во дворце и другие антирелигиозные выступления. Устраивались дискуссии, диспуты, но речи защитников так называемой «живой церкви» были малопонятны, аудиторию они не убеждали – слишком много туманного было в их речах. Во всяком случае нам, красноармейцам, больше нравились их оппоненты, тот же Ивенин и другие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.